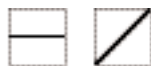


НОВЫЕ ГРАНИЦЫ



ИЛЛЯ  
ГЕРАСИМОВ  
НУЛЕВЫЕ  
СТЕПЕНЬ  
ПИСЬМА



НОВЫЙ ИЗДАТЕЛЬСТВО

2009

УДК 94(689.1)

ББК 63.3

Г37

СЕРИЯ «НОВЫЕ ГРАНИЦЫ» ИЗДАЕТСЯ С 2004 ГОДА

С 2009 ГОДА — СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

«НОВОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА» И ЖУРНАЛА Ab IMPERIO

ИЗДАТЕЛЬ Андрей Курилкин

ДИЗАЙН Анатолий Гусев

Ab IMPERIO ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ФОНДА ДЖОНА Д. И КЭТРИН Т. МАКАРТУРОВ

ГЕРАСИМОВ И. В.

Г37 Нулевые. Степень. Письма.

М.: Новое издательство, 2009. — 156 с. — (Новые границы)

ISBN 978-5-98379-125-1

В сборник «Нулевые. Степень. Письма» вошли эссе российского историка Ильи Герасимова 1999–2009 годов. Их большая часть была написана для специализированного российско-американского исторического журнала Ab Imperio как маргиналии на полях узкопрофессиональных дебатов, проецирующие их проблематику и методологию на актуальные культурные явления российской жизни: фильмы, книги, резонансные выступления. Стержневой темой статей, написанных по самым разным поводам, оказываются размышления о судьбе западнического проекта в современной России.

В центре книги — кризис западнической парадигмы перестроечных времен, тупиковость альтернативных холистских проектов и размышления о новом «западничестве для XXI века».

УДК 94(689.1)

ББК 63.3

ISBN 978-5-98379-125-1

© Ab Imperio, 2009

© Новое издательство, 2009

Предисловие	7
«Прогулки Фраеров», или Как я публиковал Борхеса	9
Российская империя Никиты Михалкова	19
Прощание с Америкой, или Конец нашего штатничества	27
«F-Word» американской гуманитарной науки, или Второе пришествие Фуко в Россию	36
Перед приходом тьмы. (Пере)ковка нового советского человека в 1920-х годах: свидетельства участников	40
Афера. Мошенники и построение нового советского человека в статьях американских историков	65
«Кутеж трех князей в зеленом дворике», или Рождение «либеральной империи»	77
Бремя вызубренных уроков: Егор Гайдар и деконструкция империи	89
«Правда русского тела» и сладостное насилие воображаемого сообщества	107
Василий Аксенов: недописанный роман русского западничества	123
Библиографическая справка	154

Посвящается А.М. и В.Г.,  
которые должны были написать  
на эти темы вместо меня

## Предисловие

Смешно интересоваться мнением историка о современной ситуации: ведь это человек, которому для того, чтобы понять, что же, собственно, произошло, нужна как минимум пара десятилетий. Не станет профессиональный историк искать и прямые аналогии между событиями прошлого и сегодняшним днем, наряжая своих современников в маски исторических героев: прошлое всегда уникально и неповторимо, и нет большей пошлости, чем с серьезным видом перетолковывать его в духе ленты последних новостей. И все же взгляд историка на современное общество может представлять интерес. Не на сами события, продуктивным анализом которых должны заниматься люди иной специализации, а на их отзвук в документах эпохи — книгах, фильмах, статьях.

Действительно, для историка, постоянно занимающегося деконструкцией письменных источников, нет особой разницы, когда именно эти источники были созданы — в принципе, каждый раз приходится применять стандартные процедуры контекстуализации, идентификации, интерпретации. Пожалуй, в качестве толкователя источников у историка есть даже важные преимущества: в отличие от филологов, анализируя скрытые смыслы текста, историк рассматривает документ не как феномен *an sich* и *für sich*, самодостаточную смысловую монаду-шараду, а как элемент большой мозаики-пазла, представляющего общество в целом. Кроме того, в отличие от социолога или политолога историк работает с людьми, а не статистическими агрегациями: он понимает, что человеческий документ — не нейтральный медиум транслирования информации, а сложный смыслопорождающий механизм.

Историк знает, как далеко может уйти текст от первоначального замысла создателя, как неожиданно он может прочитаться в определенном контексте, какие непредвиденные смыслы может выдать при внимательном и грамотном анализе.

Публикуемые в этой книжке эссе были написаны в нулевые годы по разным поводам — мне казалось, что я становлюсь свидетелем появления нового «источника» для будущего историка. Как же можно было пройти мимо такой возможности — попытаться первым проанализировать «нулевую степень письма» (Р. Барт) еще не сформировавшегося исторического источника! Оглядываясь на эти статьи сегодня, я воспринимаю их и как письма к самому себе, как попытку сформулировать собственную жизненную позицию по отношению к происходящему: я получил докторскую степень в 1999 году, и все, что писал с тех пор в 2000-х, было свободно от оглядки на формальное подтверждение моего академического статуса. Важнее было то, насколько мои профессиональные навыки помогли мне в анализе интересовавших меня событий и явлений.

Эти мои опыты могут представлять интерес для современного читателя еще и потому, что последнее десятилетие было отмечено неким дискурсивным вакуумом, идеологической и концептуальной дезориентацией общества. Невозможно было понять, где кончается либерал и начинается фээсбэшник, как провести грань между коммунистом и нацистом, есть ли хоть какое-то соответствие между риторикой и социальной реальностью. Только в последнее время, очень медленно, начинает выкристаллизовываться некое осмысление прожитого нами десятилетия. Я надеюсь, что этот сборник окажется моим скромным вкладом в процесс возвращения смысла в российское общественное сознание.



## «Прогулки фраеров», или Как я публиковал Борхеса

Когда-то, лет пять назад, мне хотелось написать критическую статью по поводу всеобщего увлечения французским постструктурализмом, подчеркнув одну существенную его черту. Я собирался перечислить основные замечания историков на «Историю безумия в классическую эпоху» Мишеля Фуко, которые в лучшем случае оставляют за этой книжкой статус поэтической метафоры; противопоставить навязчивому кошмару раннего Барта, с его убежденностью в невозможности индивидуального письма из-за диктатора «языка», творчество косноязычного Ф.М. Достоевского, чтобы прийти к выводу: постмодернизм как ремесло — удел дилетантов. Люди, которые слишком хорошо знают о трудностях ремесла художника или ученого, но не обладают искрой Божьей для первого или профессиональной подготовкой для второго, могут с легкостью принять релятивизм постмодерна как оправдание своей творческой фрустрации.

Постмодернисты стремятся окончательно затупить «лезвие Оккама», создавая новые сущности, метафоры и симулякры без крайней нужды, предпочитая обойти проблему, переформулировав ее на новоязе очередной «деконструирующей» системы. Этим самым они снимают с себя ответственность за возможную ошибочность интерпретации, повторяя вслед за художниками-абстракционистами: «Я так вижу...» И вправду, что можно доказать, противопоставляя остроумной схеме Фуко некие исторические «факты», которые неизвестно кто и неизвестно еще с какой целью «навязал» обществу, прикрываясь авторитетом науки? И что можно ответить Фуко или Барту, если вы не Иосиф Бродский

и не чувствуете внутренней убежденности в элементарной творческой неполноценности критика?

Лучшую пародию на постструктурализм все равно создали сами же французы, причем давным-давно: я имею в виду замечательный фильм «Высокий блондин в желтом ботинке» с Пьером Ришаром. Это просто учебное пособие по семиотике М. Фуко! Берется определенная «эпистема», проецируется на случайный, но кажущийся подходящим объект, при этом старательно игнорируется всяческий «контекст», который может разрушить изначальную гипотезу (для американских последователей Фуко «контекст» вообще бранное слово). Объект деконструируется, деконструируется, все вроде бы сходится — но в итоге ис/следователь оказывается в дураках... (К слову, «Возвращение Высокого блондина» посвящено второму интеллектуальному хиту 70-х: психоанализу Фрейда–Лакана.)

...Ту статью я так и не написал. В конце концов, что мне Гекуба и безуспешные литературные опыты Фуко и Барта? Другое дело — разгорающийся роман российской интеллигенции с постмодерном. Интеллектуальная собранность и ответственность некогда не были особенно характерны для интеллигенции, а мода на постмодерн обещает и вовсе освободить нас от презренных оков деспотического радио<sup>1</sup>. Мне кажется, что в проекте постмодерна российская интеллигенция нашла уникальную возможность в очередной раз увернуться от тяжелой необходимости взять на себя ответственность за собственную интеллектуальную деятельность ради сохранения дорогого сердцу интеллигента дилетантизма.

Помните шуточное стихотворение Булата Окуджавы, в котором он обыгрывает название своего романа «Путешествия дилетантов», основываясь на определении «фраер — на жаргоне интеллигентный человек» (то есть дилетант):

Когда в прекрасный день разнощица даров  
Вошла в мой тесный двор, бродя дворами,  
Я мог бы написать, себя переборов,

<sup>1</sup> Здесь и далее я говорю о постмодерне как общем стиле мышления, а не возможных достижениях отдельных художников.

«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»...

Но по пути мне вышло с фрайерами<sup>2</sup>.

Характерно противопоставление «прозаических» профессионалов романтическим, хоть и «сниженным», фраерам. Интеллигент — не профессионал, в отличие от западного интеллектуала. Об этом написано предостаточно, и надо сказать, что пресловутые «профессионалы», которых ставят в пример бестолковым интеллигентам (по крайней мере российские авторы), во многом являются лишь дидактическим продуктом полемики. Никто ведь не хочет на самом деле, чтобы вслед за американскими интеллектуалами российские интеллигенты разбрелись по узкопрофессиональным гильдиям, бросив читать общегуманитарные «толстые журналы». Но со времен Петра Струве существует идеал нового интеллигента, который осознал необходимость личной «годности» и ответственности за производимую интеллектуальную экспертизу. Будь то литературная критика, история или социальная теория.

Проект постмодерна в его популярном варианте противостоит идее всякой интеллектуальной ответственности; тщательная подготовка к анализу проблемы не имеет смысла, потому что реальный диалог с существующими исследовательскими традициями невозможен. По идее, любой человек, знакомый с азами «деконструкции», с базовой терминологией и с соответствующими эстетическими вкусами, может оценивать работу «традиционных» профессионалов и создавать артефакты, в свою очередь экспертизе этих профессионалов неподсудные. Эта перспектива выглядит куда соблазнительнее альтернативного пути: образования, интеллектуальной дисциплины, надежды приблизиться к истине и сознания того, что в наших силах лишь обозначить территорию, где ее нет...

Однако просто написать, что постмодерн, как мы его видим, — интеллектуальное надувательство и тупик, особенно в современных условиях России, — значит примитивно обозвать почтенный и вполне укоренившийся у нас институт. Так получилось, что я случайно оказался в самом центре современного постмодер-

<sup>2</sup> Орфография Б.Ш. Окуджавы.

нистского литературоведческого процесса, и мое свидетельство «внутреннего наблюдателя» имеет, как раньше говорили, ценность исторического документа.

Все началось с того, что несколько лет назад я написал на двух страничках нечто, что мне показалось стилизацией в духе «Новых исследований» Х.Л. Борхеса. Идея была в том, что бедный А.С. Пушкин вовсе не был застрелен Дантесом. Презренный ловелас якобы промахнулся и этим поставил Пушкина в эстетически безвыходное положение: рассматривая дуэль в поэтике трагедии, он ожидал смерти обидчика или собственной гибели, по крайней мере — явно-го вмешательства Рока. Два промаха снижали трагедию едва ли не до уровня фарса, и тогда «творец судеб своих литературных героев решил исправить волю Творца и изменить по законам высокой трагедии исход дуэли, даже ценой отягощения своей души смертным грехом». По дороге домой А.С. стреляется в возке и просит секунданта объявить о его смертельном ранении на дуэли. Но недалекий Дантес не сразу догадывается воспользоваться обстоятельствами и укрепить свою славу бретера, слухи о самостреле доходят до государя и церковных властей, и только благодаря заступничеству графа А.Х. Бенкендорфа поэта похоронили не за церковной оградой, как самоубийцу. Но именно по этой причине похороны прошли без подобающей торжественности и публичности, тело было перевезено ночью, почти тайно, в Святогорский монастырь...

Сама идея мне казалась интересной, хотя после всего, что было написано о Пушкине за последние 30 лет, вряд ли особенно оригинальной. Чтобы она не растворилась с самого начала среди псевдохармсовских анекдотов, ей нужна была особая форма, и в качестве этой формы я выбрал странные повествования Борхеса, в которых эрудиция тесно переплетается с выдумкой, факт и вымысел являются равноправными элементами «виртуальной реальности» книжного мира.

Следуя типичному борхесовскому канону, в качестве ядра истории я взял «документ» — малоизвестные записки «псевдо-Данзаса», которые, будто бы, Модзалевский датировал началом 1840-х годов, а авторство Роман Якобсон приписывал если уж не самому Данзасу, то осведомленному человеку из его ближайшего окружения. Вокруг документа я пустил размышления «Борхеса»,

как бы связанные и в то же время не связанные с центральным фрагментом. Добавив в «борхесовское» повествование имена Карла Юнга и Педро Энрикес Уреньи, я счел программу-минимум по мимикрии выполненной. На этом, втором, этапе создания культурного артефакта странная идея приобрела статус домашней литературной игры. Отстуканные на машинке странички я показал родным и нескольким знакомым, все посмеялись — и только. Идея не пропала, но никакого влияния приобрести не смогла, оставшись тем, чем и была по сути: формалистской конструкцией графоманского свойства. Дело было 1 апреля 1993 года.

Прошло два года. К тому времени я вполне освоил Word for Windows, а немногочисленные читатели моей первоапрельской шутки благополучно успели о ней позабыть. Я чуть отредактировал текст, сверстав его на компьютере в виде разворота журнала *Arbor Mundi*, в котором, по моему мнению, и должен был появиться мой псевдо-Борхес, будь он не псевдо, а подлинным. Я добавил рамочки и виньетки, подобрал шрифт и интерлиньяж, а главное, снабдил кратким вступлением публикатора. Мистификация, которая лежала в основе моего проекта (сюжет и авторство), подняла его еще на две ступени. Во-первых, ключевую роль сыграла технология, ведь именно ей обязан постмодерн тем, что вместо разоблачений досуженного шарлатанства критики почтительно рассуждают об авангардном видении (в чем легко убедиться на лучших образцах в Гугенхайме, Музее современного искусства в Нью-Йорке или в Центре Помпиду). Благодаря лазерному принтеру и Word'у в моих руках оказался не доморощенный опус для домашнего употребления, а «ксерокопия» публикации в солидном журнале. Во-вторых, дописанное мною вступление публикатора осеяло текст авторитетом филологической науки, в результате чего первоначальная идея оказывалась под многогранной защитой: историю дуэли рассказывает псевдо-Данзас, которого публикует Борхес, которого раскопал публикатор, которого печатает *Arbor Mundi*. Фокус возможных сомнений переместился от замысла к исполнению, а это величайшее достижение постмодерна: художественная ответственность переносится от автора к технологии воплощения, а в наше время технология творит чудеса...

Меня больше не беспокоили возможные огрехи стиля или нестыковки сюжета: я был почти уверен, что никто на это не об-

ратит внимания, коль скоро мое произведение приобрело статус «текста, опубликованного солидным изданием». Это был блеф, но я решил проверить могущество технологии. 1 апреля 1995 года (я честно оставлял людям возможность дезавуировать мои намерения на вполне формальном календарном основании) я представил «ксерокопию» своего псевдо-Борхеса избранной публике. Результат превзошел мои ожидания: на меня серьезно обиделась моя *очень* образованная знакомая, когда через несколько дней я открыл ей правду. Оказалось, что она уже успела рассказать об удивительной идее Борхеса кое-кому и теперь я поставил ее в дурацкое положение...

Я понял, что неожиданно-негаданно смастерил «ловушку для интеллектуалов», но одно обстоятельство мешало мне признать эксперимент полностью удавшимся. Ведь, показывая распечатку на лазернике, я убеждал людей, что это фотокопия подлинной публикации, то есть эксплуатировал их доверие ко мне. Нужно было замкнуть круг, попытавшись на самом деле опубликовать мое произведение в соответствующем издании. Для этого я надеялся использовать в качестве козыря учебу в американской докторантуре: согласитесь, что получить неизвестное эссе Борхеса из Америки вовсе не то же самое, что получить его из Казани. Но как-то мне все было некогда весной, а я твердо решил оставить жертвам моей мистификации ключ к разгадке, представив свой артефакт на 1 апреля.

За всякими срочными делами я надолго забыл о своем замысле и вспомнил о нем только минувшей весной, когда я вернулся-таки в Казань собирать материалы для диссертации. Жертву не пришлось долго искать: «тонкий журнал читающим порусски» под названием «Пушкин» буквально напрашивался в качестве идеального объекта моего эксперимента. Высокомерная постмодернистская тусовка «Пушкина» не давала повода для угрызений совести «честного профессионала»: я не собирался обижать детей или обманывать бедных гуманитариев, для которых лазерный принтер — чудо XXI века и слово — свято. В конце концов, моя история была про Пушкина, а кто на нас с «Пушкиным» придет, тот...

Итак, 30 марта 1998 года я послал в редакцию «Пушкина» письмо, которое я тут приведу целиком, так как оно явилось кульминацией рассказываемой истории:

Уважаемый господин Павловский,

Ваш журнал кажется мне единственным и естественным прибежищем в сложившейся вокруг открытого мною документа ситуации. В ходе работы над докторской диссертацией в университете Ратгерс (Нью-Джерси, США) я неожиданно наткнулся на совершенно неизвестный текст Х.Л. Борхеса. Я перевел его и с кратким комментарием немедленно отправил в редакцию альманаха *Arbor Mundi* (по рекомендации Вяч. Вс. Иванова). В Москве этот материал приняли восторженно, он был взят в очередной (пятый) номер, и я даже получил копию (прилагаемую) гранок номера. Каково же было мое удивление, когда уже в Казани я открыл вышедший номер альманаха и не нашел в нем эссе Борхеса. Никакой информации о внезапной перемене в решении редакции официально я не получил, но неофициально мне передали, что материал мой «компрометирует А.С. Пушкина». Я надеюсь, что журнал, повторяющий, что Пушкин — это наше все, по-другому отнесется к неизвестному в России эссе Борхеса.

Я приношу свои извинения альманаху *Arbor Mundi* и Вяч. Вс. Иванову за поминание их всеу, но ведь я должен был оправдать технологический элемент своего артефакта, а снять трубку и спросить: «А знаете ли вы такого-то?» — дело минуты. Против меня играли и казанский адрес, и сомнительная идея, что в штате Нью-Джерси водятся неизвестные рукописи Борхеса. Любому профессиональный журналист первым делом связался бы со мной, чтобы затребовать оригинал «эссе» Борхеса, выяснить ситуацию с копирайтом и элементарно проверить мою персону. А это было бы для меня и вовсе худо, так как в последний момент, по настоянию жены, я подписал письмо псевдонимом Олег Процик. Она опасалась, что я скомпрометирую себя как профессионала-историка в том маловероятном случае, если меня все же опубликуют. Я же пошел на это еще и по эстетическим соображениям: мистификация должна пройти и последнюю, пятую ступень, представ как безликий артефакт, скрыв подлинное авторство. Сейчас я понимаю, что, поставив под письмом имя своего приятеля по докторантуре, я подсознательно выбрал самого «постмодернистского» человека в своем окружении, релятивистски относящегося ко всему, начиная от своего джендера и кончая эпистемологическими основаниями политологического анализа...

Ответ из журнала пришел почти месяц спустя, по электронной почте:

Уважаемый Олег Процик!

Спасибо Вам за письмо и перевод.

Текст Борхеса с Вашим кратким комментарием будет опубликован в 6-м номере журнала «Пушкин» (от 1 мая 1998 г.). В понедельник, 27 апреля, мы получаем тираж. Практически сразу же отправим Вам почтой авторские экземпляры.

С уважением,

Глеб Павловский

Как говорится, «й-ес-с-с!».

Раскусили ли в редакции «Пушкина» мою мистификацию? Не знаю. Уверен только, что постмодернистской ловушки совершенно избежать там не смогли. Ведь проверить мой материал по телефону или электронной почте — значит проявить заинтересованность в его «истинности», а эта гносеологическая категория чужда подлинному постмодерну. Куда проще опубликовать сомнительный кусок между эссе М. Ямпольского и самого Г. Павловского. Увы, постмодерн размывает чувство юмора...

В заключение скажу, что завершившийся столь удачно эксперимент по изобретению «шедевра» постмодерна (я имею в виду, конечно же, Борхеса, а не себя) и приданию ему статуса факта культуры имел неожиданное продолжение. Расстроенность культурных связей в России помешала «триумфальному шествию» моего псевдо-Борхеса по стране, да и трудно уследить за возможной реакцией. Но у меня есть разворот главной газеты Казани «Республика Татарстан» от 6 июня 1998 года. В рубрике «Неизвестное об известном», в разделе «Сегодня — Пушкинский день», было перепечатано мое эссе из «Пушкина». Правда, газета отнеслась к этому предприятию творчески: ссылка на первоисточник опущена, и само эссе опубликовано «с некоторыми сокращениями», зато с портретом А.С. Пушкина работы Ю. Селиверстова.

Хотя меня и возмутили допущенные купюры (взялись редактировать самого Борхеса!), гордости моей не было предела. Еще бы, ведь оказался запущенным механизм культуры, мой псевдо-Борхес больше не домашняя литературная игра, не удел междусобойчика высоколобых интеллектуалов, он пошел в народ! Началась вторая фаза его бытования, которая должна в обратном



порядке повторить все шаги предыдущей. На первом этапе пропал источник публикации — очень серьезный журнал «Пушкин». Действительно, если «неизвестное» эссе Борхеса — свершившийся факт, то никто не вправе узурпировать право на его публикацию. Я надеюсь, что на следующем этапе, при перепечатке в местной прессе из солидной «Республики Татарстан», исчезнет и имя публикатора — моего релятивистского друга Процика с-под Николаева. Хорхе Луис Борхес останется наедине со своим неизвестным детищем. А возможно, через несколько лет пески культуры поглотят и его имя, и дети будут узнавать от родителей, что бедного Александра Сергеевича хоронили ночью, потому что он дерзнул нарушить правила православной морали...

Страшновато? Мне страшновато, хотя постмодернистская культура выбрасывает на читательский рынок подобные «артефакты» ежедневно, ничуть не заботясь возможными последствиями. Я же сознаю свою ответственность за «вышедший из-под контроля» эксперимент и потому прошу: не судите строго. Кто-нибудь нас да вытащит из тупика интеллигентского дилетантизма. Пушкин, что ли?

P.S. И все-таки журнал «Пушкин» мне отомстил, за постмодернистами всегда остается последнее слово. Помните, в записке Г. Павловский обещает выслать мне авторские экземпляры 27 апреля? Прошло семь месяцев, я так ничего и не получил. Опять надули!

P.P.S. (2009): Как водится, старые пророчества в целом не сбываются: спустя 11 лет мы видим, что версия о самоубийстве Александра Сергеевича не получила широкого распространения, хотя отнюдь не забыта. В свое время в интернетной публицистике представители гей-комьюнити доказывали невинность Дантеса (и нынешних гей-славян) перед русской культурой ссылками на моего псевдо-Борхеса, а директор отделения ИТАР-ТАСС в Риме Алексей Букалов посвятил целую главу в своей популярной книге рассказу о поисках записки Данзаса в Ватикане<sup>3</sup>. И все же

<sup>3</sup> Букалов А.М. Пушкинская Италия: Записки журналиста / 2-е изд., расшир., доп. СПб.: Алетей, 2007.

есть что-то пугающее в старых предсказаниях, некое предвосхищение будущего, скрытое во второстепенных деталях, не понятое в свое время и самим прорицателем. Каким новым человеком предстал перед публикой Глеб Олегович Павловский после 2000 года — и какой неизгладимый отпечаток оставил на всем нашем обществе! Тут мы сталкиваемся с совершенно борхесовской — невыдуманной — шарадой: что же именно в той истории считать удачной мистификацией?

## Российская империя Никиты Михалкова

Как-то июньским вечером 1999 года, вскоре после известного броска российских десантников из Боснии к Приштине, я шел по центральной пешеходной улице Казани. Проходя мимо уличного оркестрика, я стал свидетелем поразившей меня сценки. Из толпы слушателей вышел полушпанского-полустуденческого вида парень, сжимающий в руке наполовину опорожненную бутылку пива, и что-то зашептал музыкантам. «Не иначе, опять из „Титаника“ тему заказывает», — решил я и ошибся. Уличный оркестрик торжественно грянул... государственный гимн России, а молодая разношерстная публика устроила восторженную овацию, рискуя выронить и расколоть прижимаемые к телу пивные бутылки... Очевидно, наступил момент, когда свободные граждане Российской республики осознали необходимость сильной и блестящей верховной власти, или *summum imperium*. Вышедший вскоре на экраны новый фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» с его апологией Российской империи (бывшей или даже скорее будущей) нашел широкую и благодарную аудиторию.

...В середине 1940-х годов Г. Франкфорт убедительно продемонстрировал, что древние цивилизации, не разграничивая социум и природу, строили государство по модели своих представлений об устройстве Мiroздания<sup>1</sup>. Следуя этой логике, можно предположить, что одной из функций возникающих социальных и политических структур было освоение (во всех смыслах этого

<sup>1</sup> Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. М.: Наука, 1984. С. 25, 72, 184 и др.

слова) окружающего мира. Первые империи возникали параллельно с первыми комплексными космогоническими системами, решая одновременно политические, экономические и когнитивные проблемы. Настоящая империя рождается как миф об упорядочении времени и пространства — географического и социального. Именно поэтому проект империи не может быть ничем меньшим, чем «тысячелетний рейх», существующий до скончания времен, описанных и объясненных на языке мифологии данной империи. Могущественный общий миф цементирует разрозненные земли и племена, входящие в состав империи, подчас крепче государственного аппарата и гарнизонов. Как показывает история распада СССР, удар по общеимперской мифологии может быть равносильным военному поражению могущественной империи.

Мало кто из историков и даже политологов мог ожидать стремительного развала Советской империи, и 90-е годы прошли под знаком бума ретроспективного изучения различных аспектов имперской проблематики. Энтузиазм исследователей, которым довелось стать свидетелями такого редкого исторического катаклизма, как крушение великой империи, был столь велик, что оставил в тени зарождение нового процесса, подспудно развивавшегося на протяжении последних лет: возникновения новой Империи Россия.

В постимперской эйфории 90-х о возможности возникновения новой империи никто всерьез не задумывался, так как для этого, казалось, не было никаких «классических» (т.е. институциональных) предпосылок: современная Россия явно не имела сколько-нибудь серьезных ресурсов для своего территориального расширения или хотя бы для заявления глобальных геополитических претензий. Однако экономический кризис и политическая нестабильность не остановили развития имперского *мифа* в России. Скорее, именно кризис вызвал компенсаторную ностальгию по великой державе у многих россиян, а также людей, живущих за ее пределами.

Три события прошедшего года вдруг обнаружили, как неожиданно далеко зашел процесс формирования имперского мироощущения в России: косовская война, начало второй чеченской кампании и премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Если первые два события отразили в первую очередь

претензии российской политической элиты на международной и внутренней аренах, то «Сибирский цирюльник» в наиболее чистом виде отразил не прикрытый сиюминутной политической конъюнктурой процесс кристаллизации нового имперского мифа в обществе. Именно тщательное и любовное изображение в этом фильме *summit imperium* и законченность космогонии (четкая моральная иерархия накладывается на определенную политическую и даже геополитическую систему) позволяет говорить о «Сибирском цирюльнике» как проявлении нового имперского мифа. А недавняя церемония инаугурации Владимира Путина, явно «списанная» с известного эпизода фильма Михалкова, свидетельствует о том, что «Сибирский цирюльник» воспринимается уже как нормативный имперский миф.

Как известно, художественное произведение функционирует на пересечении трех векторов, которые новосибирские семиологи называют «треугольником Тюпы»: между замыслом автора, воплощением этого замысла в художественном тексте (в широком семиотическом смысле) и прочтением этого текста аудиторией читателей/зрителей. Рассмотренная через призму «треугольника Тюпы», судьба фильма Никиты Михалкова предстает в весьма причудливом свете.

Выход своего фильма на экран Михалков предварил шумной пропагандистской кампанией, которая была посвящена не столько реальному фильму, сколько политическим пристрастиям его создателя. На основании многочисленных публичных выступлений Михалкова лета–осени 1999 года и наиболее очевидного, внешнего, пафоса его фильма сознательную (а отчасти бессознательную) интенцию режиссера/автора можно сформулировать таким образом: Россия некогда была и, главное, еще может стать великой державой с процветающими счастливыми подданными и достойным правительством. Михалков производит революционный переворот, переосмысливая традиционное мистически-славянофильское представление о вестернизации как «оплодотворении» мужественным Западом женственной России. В его фильме именно мужественное российское начало (кадет Андрей Толстой) совершенно буквально «оплодотворяет» женственное воплощение Запада (авантюристку Джейн). Намек создателей фильма весьма прозрачен: России нечему учиться у Запада;

напротив, именно российская прививка поможет Западу стать более жизнеспособным и одновременно «духовным». Наконец, хотя и не в последнюю очередь, Михалков просто хотел снять яркое и сочное кино про буйство человеческих страстей в экзотическом интерьере, устав от бесконечной перестроенной «чернухи».

Подготовленная михалковскими выступлениями и разъяснениями, зрительская аудитория восприняла «Сибирский цирюльник» с повышенно политизированным вниманием. Этому обстоятельству способствовало и отсутствие налаженного кинопроката в нашей стране. Если в США, скажем, в год выходит на экраны 5–6 фильмов такого класса (1–2 классом выше, 10–12 классом ниже и несколько десятков фильмов-однодневок) и они вписываются в определенную иерархию, то в современной России «Сибирский цирюльник» сравнивать было не с чем. Фильм Михалкова, с его огромным для России бюджетом и шумной рекламой, оказался единственным в им же обозначенном классе, усиливая впечатление, что это кино — «больше чем кино». Квалифицированные историки и либеральные критики возмущались, что Михалков выбрал в качестве прототипа для своей идиллии вполне реакционное царствование Александра III, а «государственными» настроенные политики и граждане хвалили «Сибирский цирюльник» за апологию благоденственной роли жесткой, но справедливой центральной власти.

Таким образом, на уровне поверхностного политического дискурса, по осям Автор-Произведение и Автор-Читатель, воспроизводится традиционная полемика между сторонниками «старого режима» и его демократическими критиками. Никакого творческого развития имперского проекта (по сравнению с его идеологами времен царствования Александра III, вроде К.П. Победоносцева) не происходит. Чтобы спрогнозировать возможное влияние на широкую аудиторию самого фильма (по оси «произведение — читатель»), не сводящегося к публицистической проповеди режиссера-Автора, посмотрим, насколько удалось Михалкову укоренить свои политические взгляды в текстуре его фильма.

Внимательный анализ «Сибирского цирюльника» приводит к довольно неожиданным выводам. Как и положено художественному тексту, фильм Никиты Михалкова обладает известной независимостью от своего автора. Оказавшись в пространстве кино,

практически все принципиальные идеологические установки Михалкова обращаются в свою противоположность.

Так, Михалкову не удается переписать по-новому символическую мистерию покорения женственной России мужественным Западом: вопреки формальной половой принадлежности главных героев (кадета Толстого и Джейн), их поведенческие стратегии полностью воспроизводят классическую мифологию. Будущий офицер Толстой сентиментален и лишен самообладания, он падает в обморок от избытка чувств и не может подчинить свои эмоции чувству долга и рациональным доводам. Он не умеет пить и не умеет курить. Напротив, Джейн — человек долга и дела, она целеустремленна и умеет контролировать свои эмоции. Она лихо выпивает и смачно дымит «пахитосками». В их романе скорее Толстой олицетворяет женскую пассивность, а Джейн — мужскую активность и инициативу.

Попытка Михалкова изобразить широту и размах «русской природы» оборачивается жестоким разоблачением национальной «клюквы». Народная прямота и удаль, смачно изображенная в сцене Масленицы, открывается своей изнаночной стороной в последующих эпизодах, особенно в тюремной сцене. А широкая натура генерала Радлова, так лихо опрокидывавшего стопку за стопкой, занюхивая водку отворотом шинели, вполне допускает мелочную мстительность и коварство. Пожалуй, за исключением капитана Мокина — ротного наставника кадетов (очевидная «цитата» архетипической фигуры капитана Тушина Льва Толстого), Никита Михалков не смог вывести на экран ни одного безусловно положительного русского персонажа.

Конечно же, главным «новым русским» (идеальным воплощением нормативных ценностей) в «Сибирском цирюльнике» является кадет Андрей Толстой. Как мы уже видели, он оказался неподходящим символом «самодостаточности» и «мужественности» России. Но помимо метафизической (и, возможно, неосознанной) полемики с философами Серебряного века Михалков возлагает на своего главного героя и конкретные политические задачи. Через него зрителям сообщается о том, как ведет себя образцовый подданный идеальной Российской империи. И в этом отношении персонаж художественного произведения подводит своего создателя.

Будущий офицер, кадет Толстой незнаком с понятиями служебного долга и корпоративной солидарности — основными добродетелями служилого человека. Скандальная сцена в театре, когда Толстой, не в силах обуздать ревность, публично сечет генерала Радлова, полностью дискредитирует его как офицера и подданного упорядоченной империи. Этому эпизоду предшествует очень важная сцена: не выдержав психологического напряжения, Толстой убегает из театра, где должен был исполнять главную роль в спектакле кадетов. Его находят друзья и капитан Мокин и просят вернуться: «Ты что, хочешь нас всех обо...ть?» Толстой возвращается, прекрасно сознавая, что на карту поставлена честь роты и училища. И, тем не менее, не может отказать себе в желании дать волю своим чувствам. В присутствии наследника престола, при стечении публики, подводя товарищей и командира, унтер-офицер учиняет вульгарный мордобой вышестоящему начальнику. Видно, так и остались не услышанными слова, произнесенные государем (или сыгравшим его Михалковым) на смотре кадетов в Кремле: «Храбрость — это терпение; терпение в опасности». Вместо того, чтобы воплощать гражданский или служилый этос, рекомендуемый Михалковым как основа здоровой (имперской) государственности (не случайно его героями стали именно кадеты, а не студенты, к примеру), этот поступок кадета Толстого обличает его как человека «не храброго», «разрушителя устоев» и всех мыслимых норм социального поведения в империи.

Фильм оставляет возможность для альтернативной интерпретации рокового поступка Толстого, но и она не поддерживает идеологический пафос Михалкова. Друзья и ротный наставник, капитан Мокин, провожают Толстого на каторгу как героя, капитан, одетый в штатское, трогательно пытается отдать честь под котелок. Получается, что в глазах служилых людей кадет Толстой не нарушил свой долг перед товарищами, а каким-то образом защитил корпоративную честь, публично обесчестив их общего начальника. Получается, что высшая гражданская добродетель — неповиновение властям? Вряд ли Никита Михалков хотел это сказать своим фильмом. Между тем эта версия находит подтверждение и в том эпизоде, когда рота кадетов в полевой форме проходит строем по городу, кадеты на ходу покупают номера газеты, излагающей официальную, ложную версию поступка Толстого, и с пре-



зрением швыряют газеты в сторону. Пафос этой сцены противоречит идеологическому замыслу режиссера, который наиболее ярко воплотился в «кремлевской» сцене (смотр кадетов государем). На смотре в Кремле декоративно-нарядные кадеты — слуги царю и плоть от плоти блестящего режима. Когда же они возвращаются с учений по улице, в полевой форме, со скатками, перекинутыми через плечо, и с винтовками за спиной (универсальный образ русского пехотинца), они воплощают совершенно другой тип русского служилого человека. Они не верят высшей власти и служат не царю и империи, а своему внутреннему чувству долга и представлению о том, как должен вести себя патриот и офицер. Именно благодаря убеждению таких людей, что они служат великой стране, Россия и вправду бывала порой великой державой. Но в этом не было заслуги режима и правителей, и ретроспективная «политическая инженерия» Михалкова оказывается излишней и надуманной.

Итак, на поверку идеология фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» оказывается совсем иной, чем ее пытался представить автор. На самом деле она приписывает нормативному русскому человеку внутреннюю расхлябанность и нестойкость, а идеальной Российской империи — репрессивность и беззаконие. Предложенное режиссером структурное сопоставление схожих ситуаций, сложившихся в России и США, показывает преимущество американской системы. Вступив в конфликт с армейским начальством, американский рекрут (сын кадета Толстого) не только имеет возможность сохранить личное достоинство, не попирая чужого, но и избежать перевода служебного конфликта в область уголовного или политического деликта. В случае же самого Толстого он пытается защитить свою честь путем публичного обещивания обидчика, что рассматривается как серьезное политическое преступление и карается как тяжкое уголовное деяние...

Таким образом, фильм разрушает идеологические построения своего создателя. Переведенные на язык эстетического дискурса, они наглядно демонстрируют художественную несостоятельность принципов, которые политически обанкротились еще сто лет назад и привели к гибели историческую Российскую империю. Но если жизнеспособный имперский миф нельзя искусственно сочинить, его можно, пусть опосредованно, уловить художественными

средствами. Собственная логика художественного произведения трансформировала исходную идеологическую программу режиссера, и если рассматривать «Сибирский цирюльник» как утопию-мечту о лучшей России, то ее основные принципы можно сформулировать следующим образом. От западной модели не удастся полностью отмахнуться: и технология оказывается передовой (лесорубная машина «сибирский цирюльник», идеальная для прокладки железнодорожного полотна, все же заработала), и психология оказалась современной. Вместо мрачного «порядка» и гарантированной пайки новый имперский проект предлагает яркое и разнообразное общество, высшей добродетелью признается индивидуальная честь и достоинство, которые даже ставятся выше государственного долга. В контексте российской политической традиции такой проект кажется едва ли не заманчивым.

Вместе с тем одно очень серьезное обстоятельство осложняет нарисованную идиллическую картину: Российская империя Никиты Михалкова и его фильма *оказывается русской империей*. Это, пожалуй, единственный случай, когда замысел режиссера без всяких искажений воплотился в фильме. И в публичных выступлениях Михалкова, и в «Сибирском цирюльнике» достоинства идеальной политической системы и добродетели ее подданных представляются *русскими* национальными качествами. Поэтому противостояние русского Толстого и американки Джейн обретает дополнительную коннотацию конфликта между самобытностью этнического национального характера и космополитизмом политической национальной идентификации. Не случайно шумная рекламная кампания «Сибирского цирюльника» проводилась под назойливым лозунгом «Он русский, и это многое объясняет». Фильм Никиты Михалкова отдает безусловное предпочтение именно этническому принципу обретения национального сознания «по крови» над политическим принципом обретения национальной принадлежности через обретение гражданских прав. Какой из этих двух принципов окажет реальное влияние на формирование нового имперского мифа в российском обществе, нам всем еще предстоит увидеть.

## Прощание с Америкой, или Конец нашего штатничества

Good-bye, Америка, о,  
Где я не был никогда.  
Прощай навсегда.  
Возьми банджо,  
Сыграй мне на прощанье<sup>1</sup>.

Режим, установившийся во Франции в результате июльской революции 1830 года, не устраивал, судя по всему, никого в стране. Межеумочное правление Луи-Филиппа заставляло задумываться и левых, и правых интеллектуалов о том, как им надо обустроить Францию. Уже в 1831 году либерально настроенный аристократ Алексис де Токвиль отправляется через океан в Соединенные Штаты Америки, чтобы изучить тамошние демократические порядки. Как он сам писал впоследствии, «...мне представилось, что та самая демократия, которая господствовала в американском обществе, стремительно идет к власти в Европе»<sup>2</sup>. Убежденный монархист Астольф де Кюстин терпел порядки на родине значительно дольше, но к 1839 году не выдержал и он, однако, в отличие от Токвиля, в поисках идеала общественного устройства для Франции Кюстин отправился не в Америку, а в Россию Николая I.

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту цитируются куплеты из песни «Последнее письмо» Вячеслава Бутусова и группы «Наутилус Помпилиус».

<sup>2</sup> Токвиль А. де. Демократия в Америке / Пер. с фр. М., 1992. С. 27.

Результатом путешествия Кюстина стало глубокое разочарование в абсолютной монархии и скандально знаменитая анти-русская и антироссийская книга «La Russie en 1839» (в русском переводе — «Николаевская Россия»). А Токвиль в общем сохранил свои либеральные взгляды (хотя даже его шокировало уж слишком свободное американское общество) и написал «Демократию в Америке», ставшую классикой политической философии.

Трудно сказать, в какой степени повлияли эти книги на изменение политического строя во Франции (хотя Вторая империя и сочетала в себе отдельные черты как американского общества, так и российской монархии). Главное их значение стало ясно позднее: и Кюстин, и Токвиль на полтора столетия вперед заложили основы параллельного мифа-антитезы «Россия и Америка», который изображает две страны как зеркальное отражение друг друга, как антиутопию и утопию. Они похожи своими просторами и грандиозными свершениями, только одна — «страна господ, страна рабов», а в другой царит свобода и воля<sup>3</sup>. Разумеется, мифологичность образов, созданных Кюстином и Токвилем, не означает их фантастичности. Даже Кюстин, который не знал русского языка и общался лишь с дворянской элитой России, сделал массу точных наблюдений, некоторые из которых не потеряли актуальности и по сей день (чего стоит, к примеру, его вывод о нелюбви русскими людьми свежего воздуха в помещениях и боязни сквозняков!). Оба француза создали яркие и законченные формулы восприятия такого сложного явления, как целая страна. Большая часть людей в мире пользуется именно такими формулами-мифологемами для выражения своего отношения к другой стране или культуре. Образы и интонации книги Кюстина можно обнаружить и сегодня в ра-

<sup>3</sup> Ср. хрестоматийный пассаж Токвиля: «В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы... Американцы преодолевают природные препятствия, русские сражаются с людьми... Американцы одерживают победы с помощью плуга земледельца, а русские — солдатским штыком...

В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России — рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира» (Токвиль А. де. Демократия в Америке... С. 296).

ботах и публичных выступлениях такого влиятельного россоненавистника, как Збигнев Бжезинский. А «Демократию в Америке» Токвиля можно считать манифестом того, что в нашей стране во времена хрущевской оттепели стали называть «штатничеством».

Штатник — это человек, который лелеет яркую мифологию некой «Америки», которая может и не иметь отношения к реалиям современных Соединенных Штатов, но которая для самого штатника обладает глубокой внутренней правдой. И до Токвиля были люди, восхищавшиеся США, некоторые даже переселялись в Америку. Конец XVIII века и особенно XIX век богаты примерами удивительных биографий россиян, которые открывали для себя Новый Свет и с энтузиазмом погружались в американскую жизнь<sup>4</sup>. Но они были не штатниками, а восторженными эмигрантами. Штатник заранее *знает*, что он может обнаружить по приезду в Штаты, и даже реальное путешествие не может существенно изменить его изначальное видение своей «виртуальной Америки». Да и жить штатник должен вдалеке от США, чтобы не превратиться в обычного американца. Токвиль был штатником в полном смысле этого слова: по прибытии в Америку он увидел, в общем-то, то, что был готов увидеть, а потом вернулся на родину, во Францию. А вот Кюстин штатником быть не смог бы: и с объектом заочного поклонения ему не повезло, и впечатлительным он оказался не в меру; а Россия суеты не любит...

Мне стали слишком малы  
Твои тертые джинсы.  
Нас так долго учили  
Любить твои запретные плоды.

Первое поколение советских штатников сформировалось в конце 20-х — начале 30-х годов. Распространение массовой культуры и массового производства в СССР пробудило широкий интерес к Америке, о которой судили по немому голливудскому кино, са-

<sup>4</sup> От Федора Каржавина, вступившего в армию Джорджа Вашингтона, до Петра Дементьева (Тверского), который основал город Санкт-Петербург во Флориде.

лонному джазу танцевальных мелодий и конвейерному производству. Как ни странно (хотя и совершенно объяснимо), остроумная и информативная «Одноэтажная Америка» И. Ильфа и Е. Петрова почти не повлияла на массовое представление о США как стране небоскребов и технических чудес. Зато пресловутые стихи Владимира Маяковского о Бруклинском мосте над Гудзоном врезались в память не одного поколения советских людей как классический «штатнический» текст. Не надо было ездить в Нью-Йорк, чтобы написать эти стихи (об этом свойстве «американских» стихов Маяковского в свое время писал Юрий Карабчиевский)<sup>5</sup>, зато они очень точно описывали воображаемую Америку фантазий советских граждан — соблазнительную и опасную.

Война и кампании по борьбе с низкопоклонством перед Западом, вероятно, прервали преемственность отечественного штатничества, хотя люди военного поколения надолго сохранили уважение перед мощными «студебеккерами», юркими «виллисами» и американской тушенкой. А послевоенные пацаны тщательно разминали зубами строительный вар, имитируя американскую жвачку, которую большинство из них никогда не видели в натуре — но все слышали об этом главном признаке «американости». Так что пресловутое низкопоклонство не было исключительно лишь пропагандистской выдумкой. Но подлинное возрождение штатничества происходит после смерти Сталина, с появлением первых щелей в «железном занавесе», реабилитацией джаза и полуподпольным проникновением рок-н-ролла, выходом на экраны «Великолепной семерки», а главное — с переводами Грэма Грина, Сэлинджера и, конечно же, Хемингуэя. Наше классическое штатничество времен «оттепели» представляло себе Америку как страну торжества частной жизни — точно так же, как предшествующее поколение воображало США эдакой совершенной технической лабораторией. Те, кто могли себе это позволить, покупали фирменные вещи у фарцовщиков или строили свои отношения «по Хэму». Именно в этот романтический период штатничество осознало себя как особый феномен, а спустя несколько десятилетий именно его воспели в книгах и пьесах Василий Аксенов и Виктор Славкин.

<sup>5</sup> *Карабчиевский Ю.* Воскрешение Маяковского. М., 1990. С. 98.

Но с исчезновением «стиляг» и окончанием хемингуэевского бума штатничество не исчезло. Начало эмиграции в Америку и появление в прокате современных американских фильмов в начале 70-х в очередной раз трансформировали штатнический идеал Америки. Именно тогда США стали представляться страной больших автомобилей, двухэтажных собственных домов в предместьях и других проявлений материального благополучия (вспомнить хотя бы ироничное описание Аксеновым неперменных атрибутов первой фотографии эмигранта-штатника: рыжая кожаная куртка и автомобиль). Америка стала символом экономической свободы и неограниченных возможностей в достижении достатка.

Перестройка, кажется, породила собственную волну штатничества. На этот раз на Америку проецировались сразу все мыслимые надежды и идеалы российского человека: вера в невероятные технические достижения и преклонение перед эстрадной музыкой, увлечение модой и политической системой (достаточно вспомнить учреждение поста вице-президента СССР, а потом и России, которое сделало структурно неизбежными политические конфликты, закончившиеся двумя путчами). «Макдонализация» России, о которой часто пишут с негодованием как о форме порабощения потребительской культурой и индустрией США, на самом деле является торжеством нашего собственного штатничества. Кто может заставить человека силой есть гамбургеры и пить колу, особенно если альтернативой являются пирожки-«тошнотики» и разливной квас из немытой бочки? То, о чем мечтали поколения штатников в нашей стране, в несколько лет стало достижимой реальностью: «шевроле» и «форд», записи Армстронга и Джими Хендрикса, джинсы и бейсболки. Еще совсем недавно многие из нас видели в Штатах лидера свободного мира, чей высокий статус подкреплен не только правом сильного, но и обладанием высшей моральной правдой. Сам Алексис де Токвиль позавидовал бы позитивности нашего отношения к Америке.

Но несколько лет назад все изменилось. Странно представить себе нынче прежний тип идейного штатника: не просто любителя «левайсов» или «мальборо», а романтика «американского образа жизни». Если бы и повстречался сейчас такой чудик, его бы первым делом спросили: так чего же ты маешься, не свалил до сих пор?..

Good-bye, Америка, о,  
Где я не буду никогда.  
Услышу ли песню,  
Которую запомню навсегда?..

Нет, далеко не все штатники «свалили» в свою землю обетованную. Они просто перестали быть заметными на фоне общего увлечения американской продукцией, сохранив в душе образ «собственной» Америки — у каждого поколения штатников свой особый. Но это не единственное и даже не главное объяснение кризиса нашего штатничества в последние годы. Главный удар по нему нанесла современная Америка, которая в глазах многих штатников компрометирует собственный идеальный образ.

Утопизм представлений штатников об Америке не вызывает сомнений, и реалии какого-нибудь маленького городка в Арканзасе никогда не имели ничего общего с техническими фантазиями 30-х годов, абсолютно свободными человеческими отношениями в 50-х годах или материальным процветанием в 70-х. Но правда и то, что все это можно было найти и всего этого можно было добиться в каком-то другом месте, в другом городе или штате. Тем не менее действительно массовое знакомство россиян с настоящими Штатами за последние десять лет (благодаря поездкам и широчайшему освещению жизни в США средствами массовой информации) обнаружило уж слишком большое несоответствие между штатническим мифом и реалиями США.

Оказалось, что на больших автомобилях в Америке разъезжают только сами же «русские штатники», американские пенсионеры и жители неблагополучных районов, а «нормальные» американцы предпочитают компактных и надежных «японцев» или аналогичные модели собственных марок. Оказалось, что на весь Нью-Йорк вещает одна-единственная джазовая радиостанция, и та существует за счет пожертвований и бюджетных субсидий, будучи не в силах привлечь достаточно рекламодателей. Оказалось, что знаменитый бруклинский акцент и типаж, сохранившиеся еще в фильмах 70-х годов, уступили место говору выходцев из Союза и Ямайки, Мексики и Китая. Где та Америка, которую мы никогда не видели, но которую так любили?



Безусловно, можно найти хороший (хотя и дорогой) джазовый клуб и в Нью-Йорке, купить, плюнув на моду, «кадиллак» и смотреть старые фильмы с Кларком Гейблом. В Америке действительно можно найти все, что угодно, и устроить свою жизнь так, как хочется. Но это уже будет не настоящая американская, а иллюзорная штатническая жизнь, которую можно, в принципе, вести где угодно. Впрочем, где угодно не получится, и наши классические штатники были правы, когда верили в почти безграничную свободу личности как главное достижение Америки. Но здесь мы сталкиваемся с новым сюрпризом, посерьезнее, чем превращение знаменитой 42-й улицы в Нью-Йорке, всемирно известного исторического злчного места, в постный заповедник детских театров и магазинов. Практически неограниченная свобода личной жизни в Америке (возможная все же лишь в утопии, но не в реальном обществе) на наших глазах была символически ущемлена скандалом с Моникой Левински: вопреки всем попыткам свести дело к политическому правонарушению президента, наблюдателей внутри Америки и за пределами страны шокировало массовое ханжество и лицемерие, проявившиеся в этом деле. За этим громким скандалом скрываются сотни мелких, часто не выходящих за пределы городка или штата: восьмилетнего мальчика выгоняют из школы за сексуальные домогательства (он поцеловал в щеку одноклассницу); лишают родительских прав эмигранта-латиноамериканца, который на людях позволил себе «неприлично» держать двухлетнего сына; выгоняют с работы профессора по обвинению бывшей студентки в изнасиловании (после полугодовой любовной связи). А как же киношные и романские, внешне немотивированные поступки роковых женщин, отчаянные жесты немногословных мужчин?

Как раз не повальная эмиграция штатников, а появление самой *возможности* отъезда нанесло ощутимый удар по штатничеству с его романтическим представлением об Америке как стране неограниченных возможностей для способного и предприимчивого человека. Примерив на себя роль такого энергичного аутсайдера, многие штатники с обидой обнаружили, что «никто», даже обещающий стать «кое-кем», Америке не нужен. Все ужесточающаяся, особенно в отношении бывших советских граждан, визовая политика США приводит к тому, что даже по гостевым и рабочим

визам в страну пускают людей уже состоявшихся, достигших достаточно высокого профессионального или делового уровня на родине. С приездом такого человека в Америку ничего непредсказуемого ожидать не приходится. Скорее, происходит «воздаяние по заслугам», и заветная заокеанская земля оказывается не страной неограниченных возможностей для самореализации личности, а эдаким верховным судьей, награждающим достойных приобщением к своим благам: техническому прогрессу, свободе частной жизни, культурному разнообразию.

В этом подходе нет ничего странного или особо несправедливого, но от штатнической романтики теперь не остается и следа. Поскольку Штаты предпочитают «покупать» готовый «продукт», то появляется цель дойти до возможно лучшей «кондиции» здесь, чтобы получить по полной «там». Пафос свободы самореализации человека исчезает, заменяясь мечтой о будущей материальной компенсации в случае удачной «реализации» себя на тамошнем рынке. Кажется, это совсем не то, о чем мечтали поколения наших штатников.

Эта новая роль Америки как верховного арбитра человеческих судеб вполне соответствует принятой ею в последние годы роли международного полицейского. Косовская война поразила многих своим откровенным цинизмом и совершенно халтурным пропагандистским прикрытием глобальных геополитических претензий рассуждениями на общегуманитарные темы (как для внутреннего потребления, так и для международной аудитории). Сила, не стесненная высокими принципами, может внушать уважение и страх, но никак не романтическую влюбленность.

— Ну его к черту! — с неожиданной злостью сказал Остап. — Все это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана... за граница — это миф о загробной жизни.

Приблизившись почти вплотную к объекту идеализации, наше штатничество оказалось едва ли не у разбитого корыта. Жаль, мы избрали очень красивый миф. И все же мы останемся скорее

## ПРОЩАНИЕ С АМЕРИКОЙ

в выигрыше, если одновременно с чарами Токвиля падет и проклятие Кюстина, который такими словами закончил свою книгу:

Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народам в других странах... Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором невысказано счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Кюстин А. Николаевская Россия / Пер. с фр. М., 1990. С. 316.

## «F-Word» американской гуманитарной науки, или Второе пришествие Фуко в Россию

На мой взгляд, нынешняя популярность Мишеля Фуко в России является экспортным продуктом. Фуко представляют достаточно широкой читающей публике не просто как иностранного философа и исследователя, а «всемирно знаменитого» автора. Его книги, ажиотаж вокруг них и наборы готовых интерпретаций его идей свалились на читателя одновременно и, что называется, «в едином пакете». Разумеется, естественный механизм рецепции идей публикой по крайней мере разводит эти элементы бытования идей хронологически, не говоря уж про возможность конфликтов интерпретаций и т.п. В этот раз Фуко пришел к нам (со значительным опозданием) из Америки, принося с собой уже сложившийся опыт восприятия его идей американским научным сообществом. Я говорю «в этот раз», потому что не нужно забывать, что впервые Фуко был напечатан на русском языке почти четверть века назад и его идеи активно обсуждались отечественными методологами задолго до распространения моды на Фуко за океаном. Однако по известным причинам эта дискуссия не смогла распространиться на широкие круги гуманитариев и обществоведов, оставшись уделом немногочисленных хранителей и толкователей почти эзотерической методологической традиции.

А вот в Америке Фуко смог стать популярным автором. Правда, поздно, когда в Европе мода на Фуко давно миновала — американские гуманитарии известны своим настороженным отношением к теории, а тексты Фуко далеко не самые легкие и «прозрачные». (Российские гуманитарии, закаленные штудированием «Капитала» и не менее тяжеловесных текстов немецких классиков,

одолели Фуко гораздо легче.) Но освоив новую методологию, американские историки, исследователи джендерной проблематики и проч. начали активно применять ее на практике. Можно по-разному относиться к творчеству знаменитого француза, но игнорировать поставленные им вопросы и предложенные ответы уже нельзя. Поэтому мне хотелось бы предупредить об опасности слепого заимствования не самого интереса к Фуко, а достаточно влиятельного подхода к освоению его идей, подхода, который немало скомпрометировал имя Фуко среди самих американских ученых, сделав его для многих едва ли не бранным словом.

Мне пришлось на собственном опыте познакомиться с методикой преподавания идей Фуко в США. На первом году докторантуры я записался на семинар с многообещающим названием «Фуко и история», который вела звезда американских методологических и джендерных исследований, принстонский профессор Джоан Скотт. Записался я на этот семинар по благу: во-первых, он считался слишком сложным для «первогодков», во-вторых, на него уже записались человек 20, явный перебор для докторантского семинара. Я считал себя подготовленным к занятиям: в отличие от моих американских коллег, которые никогда прежде Фуко не читали, я к тому времени прочел книжек пять и немного разобрался во французских авторах его поколения. Кроме того, я ознакомился с некоторыми работами историков, которые пытались прокомментировать исторические изыскания Фуко с точки зрения традиционной и скучной фактографии, поэтому я с нетерпением ждал обсуждения того, как можно использовать провокационные идеи Фуко в профессиональном историческом исследовании. То, что я увидел, меня поразило: взрослые мальчики и девочки (мало кто был моложе 30 лет) по команде принстонской знаменитости зачитывали вслух фрагменты какой-то статьи Фуко, а потом по наводящим вопросам Джоан Скотт пытались дать «правильное» толкование прочитанному. Несколько раз я робко пытался прокомментировать зачитываемый фрагмент не так, как хотела профессор Скотт (так, в одном месте Фуко явно цитировал более раннюю работу Барта, а нас пытались уверить, что это одна из главных идей именно Фуко), — к моему удивлению, обычно восторженно приветствующая в американской докторантуре самостоятельность мышления на этом семинаре явно не поощрялась. Я еще успел

успешно прослушать положенные часы по истории КПСС в родном университете, и разворачивающееся действие вызывало у меня острый приступ *déjà vu*.

Впрочем, мои страдания оказались недолгими. На следующее занятие было задано прочесть короткую статью Фуко, которую он написал сам о себе (но в третьем лице) для энциклопедического словаря. Нет необходимости говорить, что текст Фуко, пишущего о Фуко, — это сложнейшая интеллектуальная игра, переплетение интерпретаций и мистификаций, разобраться в которых может только человек, действительно очень хорошо знающий Фуко (пожалуй, только он сам). Каково же было мое изумление, когда нам было предложено вновь читать вслух по очереди эту статью как полную и окончательную интерпретацию творчества Фуко. Я попытался указать на неоднозначность предложенного нам материала и произнес роковое (как я потом понял) слово «контекст». Произошло нечто неслыханное в американской докторантуре: меня публично выгнали с курса, на который я официально зарегистрировался и который честно посещал. Глядя куда-то в сторону, Джоан Скотт сказала: «Вот тут некоторые на семинаре задают вопросы... не соглашаются с интерпретацией, которую я предлагаю... наверное, им лучше не ходить на мой семинар...»

Конечно, не мои робкие вопросы сами по себе вывели из себя принстонскую знаменитость. Слово «контекст» оказалось главным моим криминалом. Идея российской школы семиотики, лотмановская традиция предполагают погружение «текста» (в широком смысле) в максимально богатый исторический и литературный контекст, чтобы в нем искать ключи к интерпретации этого текста. Нормативный «фукоизм», как его усвоили многие американские ученые и как они преподают его следующим поколениям исследователей, проповедует, что «все в тексте, нет ничего за пределами текста». Поэтому можно принимать самоинтерпретацию Фуко за объективный анализ, поэтому нельзя верифицировать его теории изучением исторических источников.

Во многом это соответствует позиции самого Фуко, ведь сфера дискурса, «открытая» им, лишь косвенно верифицируется традиционными источниками, ее осмысление во многом зависит от художественной интуиции исследователя. И тем не менее для прочного успеха идей Фуко в России важно растождествить их

с уже готовым набором интерпретаций, сглаживающих многочисленные противоречия и даже ошибки, содержащиеся в его книгах. Иначе неизбежно скорое восстание против монолитного образа нового старого интеллектуального гуру, превращение его имени в бранное слово на устах «трезвомыслящих» ученых, а вместе с этим — забвение тех важных открытий, которое он сделал. Работы Фуко обязательно надо рассматривать в широком историческом и интеллектуальном контексте, чтобы не превращать его в монстра. Я надеюсь, что мой рассказ составит частичку этого контекста и послужит «гуманизации» фигуры Фуко, отделению его образа от созданного влиятельными американскими гуманистами мифа.

# Перед приходом тьмы (Пере)ковка нового советского человека в 1920-х годах: свидетельства участников

## 1. Новейшие мифологии

В недавней статье Эрик Найман зафиксировал появление нового междисциплинарного направления в изучении Новейшей истории России: «история советской субъективности», нового субъекта, созданного благодаря сталинскому социальному эксперименту, нового типа сознания<sup>1</sup>. Представленная в работах прежде всего Игала Халфина и Йохена Хелльбека<sup>2</sup>, новая интерпретация процессов в советском обществе 30-х годов основывается на прочтении всего

<sup>1</sup> *Naiman E.* On Soviet Subjects and the Scholars Who Make Them // *Russian Review*. Vol. 60. 2001. July. P. 309.

<sup>2</sup> См.: *Halfin I., Hellbeck J.* Rethinking the Stalinist Subject: Stephen Kotkin's «Magnetic Mountain» and the State of Soviet Historical Studies // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1996. Bd. 44. № 3. S. 456–463; *Хелльбек Й.* Личность и система в контексте сталинизма: попытка переоценки исследовательских подходов // *Крайности истории и крайности историков: Сборник статей к 60-летию проф. А. Ненарокова*. М., 1997. С. 195–207; *Hellbeck J.* Writing Self in the Time of Terror: Alexander Afinogenov's Diary of 1937 // *Self and Story in Russian History* / Ed. by Laura Engelstein and Stephanie Sandler. Ithaca; London, 2000. P. 69–93; *Idem.* Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia // *Kritika*. 2000. Vol. 1. № 1. P. 71–96; *Idem.* Diary of Stepan Podlubnyi, 1931–1939 // *Stalinism: New Directions* / Ed. by Sheila Fitzpatrick. London; N.Y., 2000; *Idem.* Working, Struggling, Becoming: Stalin-Era Autobiographical Texts // *Russian Review*. 2001. July. P. 340–359; *Halfin I.* From Darkness to Light: Student Communist Autobiography during NEP // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1997. Bd. 45. № 2. S. 210–236 и др.



пространства сталинизма как единого текста. При этом, в отличие, скажем, от Юрия Лотмана и его концепции семиосферы, американские историки не усложняют свой анализ проблемами физики и топографии интертекстуального пространства. Между тем, как известно, процесс коммуникации даже внутри будто бы гомогенной знаковой системы очень сложен и неоднозначен, а перевод дискурса в плоскость социальной деятельности (праксиса) никогда не обходится без капитальных искажений. Игнорирование «материальности» дискурса и вообще символического пространства позволяет этим историкам прочитывать сталинизм как непротиворечивый текст (оксюморон с точки зрения теории информации), а потому *осуществившийся проект*. Причем его можно начинать «читать» с любой стороны: отталкиваясь от «Краткого курса» и резолюций съездов или личных дневников граждан, анализируя кино и литературу или прессу. Всюду находим те же тропы и поэтику, тот же идеологический метанарратив и ту же систему ценностей. Если все — единый и непротиворечивый текст, которому нет альтернативы (а ему, как кажется, нет альтернативы), то все это — правда: сталинская утопия оказывается воплощенным проектом по созданию нового человека. И какого человека!

По словам Хелльбека, большевистский режим последовательно воплощал модерный проект «субъективизации», создания сознательных граждан, которые бы занялись по собственной воле строительством социализма:

Такое влияние дискурсу взращивания сознательных революционных субъектов придавал тот факт, что он реализовывался посредством целого ряда *субъективизирующих практик*, включая политическую агитацию, образовательную политику и меры перевоспитания, направленные на «передельвание» классово чуждых элементов. Даже лагеря ГУЛАГа, укомплектованные большими библиотеками и другими образовательными средствами, задумывались как строительные площадки для Нового Человека. В рамках этой трансформирующей структуры Советское государство придавало особое значение практике автобиографического письма и речи как проявлению уровня сознательности, достигнутого индивидуумом, а также как средству дальнейшего повышения сознательности<sup>3</sup>.

3 Hellbeck J. Working, Struggling, Becoming... P. 342.

Понятно, что в интертекстуальной реальности исследователей «советской субъективности» история ГУЛАГа воспринимается с точки зрения писателей-соцреалистов, путешествующих вместе с руководством ОГПУ по Беломорканалу, а не, скажем, Варлама Шаламова. Однако представляется, что ключевая подмена происходит и в плоскости сугубо дискурсивного анализа. По какой-то причине, возможно, заключающейся в упадке преподавания немецкой классической философии в западных университетских курсах в последние десятилетия, в работах «советских субъективистов» сталинской вселенной, организованной на совершенно гегельянских принципах и культивирующей именно гегельянские добродетели, приписывается сотворение кантианского субъекта. Вместо свободного в смысле «осознанной необходимости» *объективного* исполнителя предначертанного всемирно-исторического замысла рисуются кантианские субъекты, «осознающие свою „личность“ как особую политическую категорию, как индивидуальную идентичность, подчиненную общественной проверке, и как целостность, которую нужно формировать и улучшать работой над собой»<sup>4</sup>. Именно отдельные индивидуумы оказываются *субъектами исторического процесса* — а вовсе не гегелевский «абсолютный дух», воплощенный в коммунистической идеологии и институционализированный в партийной иерархии (достигающий абсолютного «становления» в фигуре вождя, обладающего абсолютной волей и знанием, локализованного в абсолютном центре вселенной-мира-страны-столицы-Кремля...). Массовые аресты и убийства в таком случае воспринимаются именно как «репрессии», лишь одна из техник в распоряжении большевистской власти, используемая для создания нового сознательного исторического субъекта-индивидуума. Активное участие самих индивидуумов — «новых» и «старых» — в уничтожении себе подобных — и «сознательных», и еще «архаичных» — ретушируется. Ибо кантианский субъект плохо согласуется с социально-политической практикой, основанной на законах диалектики («единство и борьба противоположностей» и «отрицание отрицания» как метод и логика террора): сталинская «чистка» (гегелевское «снятие») значит для кантианского субъекта смерть и конец его опыта познания и изменения мира.

<sup>4</sup> Hellbeck J. Working, Struggling, Becoming... P. 358.

Однако два приведенных выше замечания — о неадекватности подхода «советских субъективистов» к анализу знаковых систем и применения индивидуалистического концепта субъективности к сталинскому обществу — основываются на эпистемологических принципах и знании, изначально чуждых Халфину и Хелльбеку. Мне же хотелось здесь остановиться на третьем аргументе, который в принципе никак не противоречит исследовательскому подходу этих историков, однако может существенно скорректировать их выводы. Это аргумент собственно исторического характера: очевидно, что работа большевистской власти по созданию «нового исторического субъекта» началась еще до того, как была установлена монополия классического сталинского дискурса. А именно, в 20-х годах И.В. Сталин еще не был «Сталиным», гражданине СССР — советскими людьми, а вот технологии социальной инженерии уже широко применялись.

Отталкиваясь от смелого предположения Йохена Хелльбека («Даже лагеря ГУЛАГа, укомплектованные большими библиотеками и другими образовательными средствами, задумывались как строительные площадки для Нового Человека»), посмотрим, что и как «сооружалось» на строительных площадках про-то-ГУЛАГа; возможно, внимательный взгляд на обычно игнорируемую предысторию расцвета сталинской «субъективности» в 30-х годах позволит увидеть ее с новой стороны.

## 2. Всюду жизнь

Там растет новый человек, оваянный воздухом нашей бурной эпохи, человек, который хочет идти вслед трудовому люду.

Заклученный может сказать о себе:

— «Ното sum et nihil humanum a me alienum puto» («Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо»).

В. Львов-Рогачевский<sup>5</sup>

Вынесенная в эпиграф цитата из работы известного советского литературного критика относится к 1926 году, так что хронологиче-

<sup>5</sup> Львов-Рогачевский В. Литературное творчество заключенных // Проблемы преступности. М.; Л., 1926. Вып. 1. С. 82. Здесь и далее цитаты приводятся с сохранением орфографии и пунктуации оригинала.

ская локализация «строительной площадки Нового Человека» в 30-х годах представляется произвольной: перековкой старого человеческого материала за решеткой власть и общество занялись гораздо раньше. Год от года, с самого начала 20-х, росло число убитых людей, год от года росло число арестованных<sup>6</sup>. Но мир «за решеткой» не представлялся первоначально безоговорочно враждебным роковым космосом, из которого нет возврата — в отличие от эмиграции и вообще «заграницы», которая с самого начала воспринималась как принципиально инородное и враждебное пространство, «отрезанный ломоть»<sup>7</sup>. Следуя традициям дореволюционных арестантов, политзаключенные первого советского десятилетия пытались сохранить систему самоуправления, с которой зачастую вынуждена была считаться тюремная администрация<sup>8</sup>, и до поры сопротивлялись попыткам превратить их в обезличенную серую массу «зэка». Они жили в тени относительно свободного мира, и густота этой тени находилась в прямой зависимости от степени его свободы.

Удивительным свидетельством процесса адаптации граждан СССР к требованиям власти в условиях «перековки» и интенсивной социально-дискурсивной инженерии являются бесчисленные тюремные газеты и журналы, издававшиеся в 1920-х годах<sup>9</sup>, которые подчас имели тираж в тысячи экземпляров. В отличие

6 В 1925 году в советских тюрьмах содержались 144 000 человек, в 1926-м — 149 000 человек, в 1927-м — 185 000 человек и т.д. См.: Литвин А.Л. Красный и белый террор в России. Казань, 1995. С. 304.

7 Ср. характерную оговорку в типичной статье 1923 года о международном положении: «В последние недели *международный мир* подвергся новым испытаниям...» (Б.Г. Итальянский империализм на Балканах // Наш журнал. Иркутск: Издание Иркутского губернского домзака, 1923. № 1. С. 2; курсив мой).

8 В ряде случаев *status quo* сохранялся вплоть до 1936–1937 годов. Ср.: Бацер Д.М. Соловецкий исход / Публикация А. Даниэля // Звенья. М., 1991. Вып. 1. С. 288–298.

9 Так, согласно существующей статистике, общий тираж издававшихся в местах заключения газет и журналов составил в 1927 году 42 000 экземпляров, одновременно было выпущено более 3000 стенок газет. См.: Гернет М.Н. В тюрьме: очерки тюремной психологии / 2-е изд. Б. м., 1930. С. 188. Автору настоящей статьи известны почти 60 печатных органов, издававшихся в 1920-х годах в тюрьмах.

от следующих десятилетий заключенные авторы и читатели не относились к этим изданиям как к однозначно показушной и формальной затее администрации. Определенная степень условности, конечно, сознавалась и признавалась (впрочем, как и в российской дореволюционной «направленческой» периодике), но изучение сохранившихся экземпляров показывает, что писать тогда можно было не только про исправление и производство, но и про то, что действительно волновало многих заключенных. Пусть искаженно, обитатели тюрем, домзаков, допров и изоляторов, этих обнесенных стенами островков, окруженных *нормальной жизнью*, старались воспроизвести реалии «материка» — но также освоить новые социальные навыки, которые помогли бы им интегрироваться в общество и избежать повторного ареста.

С источниковедческой точки зрения тюремная периодика 20-х выгодно отличается от личных дневников 30-х годов, на которых основывает свои заключения Й. Хелльбек, поскольку можно достаточно четко оговорить пределы достоверности и фальсификации этих документов. Довольно определенно реконструируются все участники коммуникативного процесса: автор, идеальный читатель и (художественный) текст как посредник, также обладающий собственным смыслопорождающим потенциалом. Упрощенно говоря, автор сидит в тюрьме и хочет выйти на свободу, поэтому избегает публичных выпадов против власти. Фигура читателя сложносоставная: это человек с воли и/или сокамерник-заключенный, которые легко распознают откровенную фальшь; но также это и цензор-тюремщик, который устанавливает границы дозволенного и от которого зависит судьба заключенного автора (в частности, возможность досрочного освобождения или даже по амнистии). Наконец, есть пространство текста, который подчас удивительно информативен — если не на поверхностно-дискурсивном уровне, то хотя бы на уровне языка, даже синтаксиса и грамматики. Как ни жестко заданы рамки канала, по которому возможно получение некой первичной «субъективной» информации из этого источника, они универсальнее и яснее, чем в случае дневников 30-х годов.

Кто автор дневника и чего он хочет? Этот вопрос тесно связан со следующим — кто идеальный/потенциальный читатель

этого документа? Во многих случаях сам автор затруднился бы ответить на эти вопросы. Предназначенный вроде бы для узкого круга близких людей (самого автора или его потомков), дневник мог в любой момент стать публичным документом, более того, юридически значимой уликой, свидетельствующей в пользу или во вред автору. Это свойство дневника обнаружилось еще в начале 20-х годов, достаточно привести пример хорошо известного в российской и англо-американской историографии дневника Ю.В. Готье<sup>10</sup>. Можно предположить, что в этих условиях те, кто решался все же вести дневник, выражали в нем некую нормативную субъективность, не противоречащую официальным представлениям (или представлениям автора об официальных представлениях). Как ни увлекательна открывающаяся в этом случае перспектива «игры в бисер» — реконструкции взаимных идеологических проекций, исходная проблема обнаружения некой «новой субъективности» не находит своего решения. «Сокровенный человек» облачается в дискурсивные одежды нормативного субъекта, и исследователю остается только гадать, насколько плотно сросся человек с маской — душою и телом...

Первые печатные газеты и журналы появились еще в 1920–1921 годах в московских тюрьмах, уж очень густо населенных культурными людьми. Особой известностью пользовался журнал «Тюрьма», выходивший в 1921 году раз в две недели, тиражом в 5000 экземпляров<sup>11</sup>.

В октябре 1923 года вышел первый номер журнала Иркутского губернского домзака «Наш журнал» тиражом в 400 экземпляров. В передовице редколлегия обещала, что по своему идейному направлению журнал «будет обеими ногами стоять на теоретиче-

<sup>10</sup> Начатый в 1917 году, дневник известного историка и остро-наблюдательного человека передает очень широкий спектр «индивидуальной субъектности» своего автора: размышления о прошлом и настоящем, оценку политических событий и сиюминутных частных переживаний...

К началу 1920-х годов становится все труднее различить в дневнике именно неповторимый голос самого Готье: вряд ли за годы Гражданской войны он поглупел и потерял свои недюжинные аналитические способности; скорее, в его глазах изменился статус самого дневника... (см.: *Готье Ю.В. Мои заметки*. М., 1997).

<sup>11</sup> *Львов-Рогачевский В.* Литературное творчество заключенных... С. 60.

ской основе марксизма». Важно отметить, что создатели журнала воспринимали себя преемниками политических арестантов царских тюрем, издававших рукописные журналы. Но если до революции круг читателей был неизбежно ограничен, то отныне «„Наш журнал“ будет распространяться для чтения среди широких слоев вольной публики, служа духовной связью между Домзаком и свободным миром»<sup>12</sup>.

Тем же духом утверждения своей сопричастности *нормальной жизни*, исключение из которой на период тюремного заключения является лишь *временным эпизодом* индивидуальной биографии, пронизан первый номер журнала Орловского изолятора спецназначения «Всюду жизнь» (середина 1924 года, тираж 2500 экземпляров): «Всюду жизнь! Как много сказано этими двумя словами!.. Вам, братья заключенные Рязанских, Вятских, Ярославских, Харьковских, Смоленских и сотен других исправтруддомов и изоляторов, наш привет и наше первое слово»<sup>13</sup>.

Но до конца 1924 года тюремные журналы и газеты выходили в свет sporadически, а общее число названий не превышало и полудюжины. Даже если среди заключенных и возникала идея выпуска собственного печатного органа, судьба этой инициативы всецело зависела от доброй воли администрации, ее готовности рискнуть навлечь на себя подозрения в «миндальничанье».

Формальные препоны исчезли после опубликования 23 декабря 1924 года Исправительно-трудового кодекса РСФСР. Как свидетельствуют сохранившиеся тюремные журналы, заключенные загодя с нетерпением ожидали этого события. С новым Кодексом справедливо связывали надежды на либерализацию режима содержания, и в 1925–1926 годах разразился натуральный бум тюремной периодики. Издавать свой журнал или хотя бы газету стало вопросом престижа как местной администрации, так и «коллектива заключенных». В Орловском изоляторе выходило в разное время четыре печатных органа; столько же тюремных изданий выходило в Самаре и Уфе. Не менее трех издавалось в Ленинграде. Еще семь городов имели по два тюремных издания. Зачастую

<sup>12</sup> От редколлегии // Наш журнал. 1923. № 1. С. 1.

<sup>13</sup> Всюду жизнь. Орел: Издание учебно-воспитательной части Орловского изолятора спецназначения, 1924. № 1. С. 1.

уровень их был катастрофически низкий (об этом мы еще будем говорить), многие редколлегии даже не удосуживали себя поиском оригинального названия: «К новой жизни» призывали 1-й и 2-й Ленинградские ИТД, а также саратовская тюрьма; совпала «Мысль заключенного» в Орле и Витебске; «Наша газета» выходила в Пскове, Владимире и Туле<sup>14</sup>. Тюремная периодика стала массовым явлением.

Но прежде чем познакомиться с типичными образцами тюремной прессы, нужно хотя бы в общих чертах обрисовать среду, которая давала авторов тюремных журналов и газет и составляла основную читательскую аудиторию.

### 3. Автор. «Я — молодой бандит народа...»

В середине 20-х годов общее количество арестантов в СССР составляло, как уже говорилось, более 150 тысяч человек, примерно столько же, сколько и до революции во всей Российской империи. Подавляющее большинство было осуждено на сроки до пяти лет за обычные уголовные преступления. По сравнению с ними «политические» составляли ничтожное меньшинство, но отношение властей к кадрам было гораздо более жестким.

Так, в 1925 году в СССР были приговорены к различным срокам лишения свободы только в городах 134 455 мужчин и 19 970 женщин. Среди них доля осужденных за участие в контрреволюционных организациях, государственную измену, шпионаж и контрреволюционную агитацию составляла всего 0,15%. Правда, среди собственно заключенных процент политических был чуть выше: если каждый третий *бандит* приговаривался к лишению свободы *условно*, то среди «политиков» доля условных приговоров не превышала 10%<sup>15</sup>. Но даже если учитывать людей, репрессированных во внесудебном порядке, процент политических заключенных остается ничтожным.

<sup>14</sup> Гернет М.Н. В тюрьме: очерки тюремной психологии... С. 185.

<sup>15</sup> Таблица III-A. Репрессия, примененная к осужденным в СССР в 1925 г. (Города) // Статистика осужденных в СССР в 1925, 1926 и 1927 гг. М., 1930. С. 96, 105.



Большая часть обитателей советских тюрем в начале и середине 20-х годов — это люди молодого и среднего возраста. Почти половина заключенных мужчин и треть женщин не достигли еще тридцатилетнего рубежа. Несовершеннолетние «малолетки» составляли 3–3,5% от общего количества арестантов. На долю женщин приходилось около 16% всех осужденных<sup>16</sup>. Для массы молодых, активных людей тюремная газета или журнал служили отдушиной в ежедневной рутине допра. Надо сказать, что, по имеющимся данным, совершенно неграмотными были только 15% заключенных<sup>17</sup>, и основная активность учебно-воспитательной части тюрьмы была направлена на окончательную ликвидацию неграмотности.

Как правило, горстка «интеллигентных» заключенных (казарм, а гораздо чаще — осужденных за должностные преступления совслужащих) заручалась поддержкой местной администрации и затевала журнал. Дело тут же обрастало десятками энтузиастов из среды малокультурных арестантов, материалы которых обычно придирчиво отбирались суровой редколлегией<sup>18</sup>.

В советском уголовном кодексе не было предусмотрено такого преступления, которого в прошлом не совершил бы кто-либо из самодеятельных авторов. Но настоящие *воры в законе* сторонились участия в санкционированной администрацией самодеятельности<sup>19</sup>. Многих из них еще несколько лет назад старые

16 Таблица V. Возраст осужденных // Статистика осужденных в СССР, 1923–1924. М., 1927. С. 42, 45.

17 Львов-Рогачевский В. Литературное творчество заключенных... С. 62.

18 В каждом журнале по традиции еще дореволюционной прессы существовал раздел «почтовый ящик». В этом разделе можно было встретить такие резолюции: «Космополиту. Можете давать материал по всем отраслям человеческого знания... Ишущему. Прочтите „Теорию исторического материализма“ Бухарина» (Наш журнал. 1923. № 1. С. 18). Редколлегия орловского журнала «Всюду жизнь» в первом же номере отвергла материалы дюжины авторов из Москвы, Рязани и Харькова (Всюду жизнь. 1924. № 1. С. 14).

19 Валерий Чалидзе также считает, что в 20-х годах к тюремным журналам серьезно относились и даже принимали в них участие лишь относительно «интеллигентные» арестанты, но никак не воры в законе. См.: Чалидзе В. Уголовная Россия. М., 1990. С. 112.

воры воспринимали с недоверием, называя *керенскими блатными*<sup>20</sup>, а потому, обретя вождеденный статус «своих», эти уголовники становились ревностными хранителями традиций.

Наверное, многие из них испытывали соблазн похвастаться перед широкой публикой своими подвигами. Но единичны случаи, когда точно известно, что автор рассказов из жизни уголовного мира — не «демон», бойкий стилизатор уголовной субкультуры, а настоящий бандит. Тип мышления настоящего вора в законе, столь близкий мышлению человека примитивного общества, практически не позволял ему овладеть письменным словом<sup>21</sup>. Уголовный фольклор никогда не существовал в письменной форме. Если у вора находили при обыске «альбом» (модный в 20-х годах среди шпаны среднего калибра), то настоящих блатных песен в нем почти не было (к чему? ведь их *нели*). Типичный набор включал в себя: «Белое покрывало» (стихи о венгерском графе); «Сумасшедший» Апухтина; «Чудесный месяц плывет над рекою»; «Девушка младая не хочет любить» и, конечно же, «Костер в тумане»<sup>22</sup>. Все эти произведения характерны для городской культуры пивных и поросших травой дворики, но не для строго воровской лирики.

Энтузиаст проекта «перековки» преступников и создания нового советского человека В. Львов-Рогачевский, между тем, допускал, что настоящие бандиты могут излагать свой субъективный опыт в индивидуальной лирике. В качестве примера он приводил стихи сибирского бандита Мишки Культияпого, сына сапожника, участника 78 убийств. Ожидая расстрела, Культияпы написал для тюремного журнала такое стихотворение:

Я — молодой бандит народа  
И им остался навсегда.  
Мой идеал — любить свободу,  
Буржуев бить всех, не щадя,  
Меня учила мать-природа.

20 См.: *Вихрев*. О татуировках // На смену кандалам. Самара: Ежемесячный журнал заключенных Самарского изолятора. 1925. № 7–8. С. 16.

21 См.: *Лихачев Д.* Черты первобытного примитивизма воровской речи // *Лихачев Д.С.* Статьи ранних лет. Тверь, 1993. С. 54–94.

22 *Глубоковский Б.* Сорок девять: Материалы и впечатления. О. Соловки: Бюро печати УСЛОН, 1926. С. 10–12.

И вырос я среди воров,  
И для преступного народа  
Я всем пожертвовать готов.

<...>

Я рос и ждал, копились силы,  
И дух вражды кипел сильней.  
И поклялся я до могилы  
Бороться с игом непачей<sup>23</sup>.

В этом стихотворении отчетливо просматриваются аллюзии на официальную культурную систему ценностей, адаптация мифологемы «социального борца» к условиям криминального мира. Но Львов-Рогачевский не знал, что бандит Культяпый *украл* стихи некоего П. Махнева, далекого от воровского мира человека (этакого «голубого воришки» Ильфа и Петрова), публиковавшего на страницах вятского журнала «За железной решеткой» в 1923 году верноподданические стихи:

Я — молодой поэт народа  
И им останусь навсегда.  
Мое призвание — петь свободу  
А также равенство труда.

<...>

Я рос и ждал. Копились силы,  
Но дух вражды кипел сильней.  
И я поклялся до могилы  
Бороться с злобою людей.

Случай со стихами Культяпого характерен. Существовавший вне сферы любых официальных дискурсов, пожалуй, и вне всякой современной «субъективности», Культяпый в тюрьме оказался под плотным институционально-идеологическим прессингом. Вполне в соответствии с моделью «советской субъективности», он апроприировал официальный дискурс классовой борьбы как квинтэссенции любого социального конфликта. Однако, как

<sup>23</sup> Львов-Рогачевский В. Литературное творчество заключенных... С. 74.

выяснилось, он «апроприировал» не только дискурс, но и *форму* его репрезентации, лишь слегка перелицевав ее под обстоятельства собственного уголовного дела. Оказывается, даже в тюрьме под угрозой расстрела «субъектами не становятся»...

Итак, *сочинительством* занимались не профессиональные преступники. Авторами тюремной периодики становились те, кто считал свое пребывание за решеткой трагической случайностью и верил, что общество тоже отнесется к этому обстоятельству как к случайному недоразумению.

#### 4. Читатель. «Никто не отсидит неотсидимого»<sup>24</sup>

Основным назначением тюремной прессы было установление диалога с внешним («Большим») миром. Администрация ОГПУ и НКВД стремилась таким образом успокоить общественное мнение: никаких ужасов за решеткой не происходит, идет будничная перековка некачественного человеческого материала в трудолюбивых строителей нового общества. Во многом той же цели добились и заключенные: преодолеть в обществе предубеждение против человека с судимостью, доказать собственное соответствие самым строгим идеологическим нормам.

И журналы находили своего читателя на воле. Рабочие самарского завода № 5 закупили сразу 200 экземпляров журнала «На смену кандалам» (как говорится, от сумы да от тюрьмы...)»<sup>25</sup>. В тюремных журналах периодически появлялись письма вольных читателей, часто сравнивавших свой опыт царской тюрьмы с журнальным имиджем новой тюрьмы советской: «И так это не похоже на то, что было 8 лет назад! Вместо пыток, побоев, церковного дурмана, ничегонеделанья — школа, кружки, книжки, труд...»<sup>26</sup>

Читатели делились впечатлениями после экскурсий по домам, обещали с пониманием встретить на воле: «Долго я незамет-

24 Литературные пародии. Козьма Прутков (Из мыслей и афоризмов) // Соловецкие острова. 1930. № 4. Апрель–май. С. 48.

25 Лесков Н. Наш журнал и общественность // На смену кандалам. 1925. № 7–8. С. 15.

26 Рабочий В. Шнырев. Голос к вам (письмо в редакцию) // Всюду жизнь. 1925. № 2. С. 25.

ным образом интересовался заключенными-женщинами и нашел, что им свойственно ошибаться на жизненном пути» (из письма рабфаковца Г. Ефанова)<sup>27</sup>.

Заключенным казалось, что настороженное отношение к репрессированным является эксцессом и *пережитком*, и они жаловались, когда в Оренбурге вышедших из тюрьмы не принимали на работу, «не узнавали» на улице знакомые, «чтобы не скомпрометировать себя»<sup>28</sup>. Полученный срок *компрометировал*, но еще не воспринимался как роковое, навеки несмываемое клеймо. И заключенные на страницах тюремной прессы заклинали в один голос:

Честной работой заполнится время, —  
Снимется с шеи преступное бремя.  
Милая, знаю, простит...  
Счастье само заблестит!<sup>29</sup>

Каждый вину здесь свою искупал,  
Хочет полезным народу впредь быть.  
Выйдет на волю, и жизнью иною,  
Честным трудом будет жить<sup>30</sup>.

Вернусь теперь я к жизни уж совсем иною.  
Трудом там честным буду я уж жить<sup>31</sup>.

Тюрьма, современные дома заключения только временно отделяют правонарушителей от общества с тем, чтобы возвратить их обратно совершенно здоровыми и способными к честной, трудовой жизни<sup>32</sup>.

И попав *случайно* за массивную дверь ржавых ворот, очутившись в *ином мире*...<sup>33</sup>

27 Ефанов Г. Нам пишут // На смену кандалам. 1925. № 7–8. С. 38.

28 От редакции // Мысль заключенного. Оренбург: Орган Учебно-воспитательной части Оренсправдома, 1925. № 2. С. 1.

29 Лазаренко П. Стремления // Всюду жизнь. 1924. № 1. С. 2.

30 Градский А. На смену // На смену кандалам. 1925. № 5–6. С. 12.

31 Лисицкая. Мечта // Там же. С. 13.

32 В.Е. Пенитенциарная система // Всюду жизнь. 1924. № 1. С. 13.

33 Туровец В. Принципы работы учебно-воспитательной части // Там же. 1925. № 2. С. 4; курсив мой.

Но мы не хотим быть замкнутыми в стенах, мы не хотим быть отрезанными от воли, от советской общественности и действительности<sup>34</sup>.

Среди процитированных авторов есть работники тюремной администрации и заключенные, сочинявшие свои стихи в карцере. Их единодушие объясняется не только цензурным прессингом (писать, а главное, *печатать* можно было и довольно острые произведения). Просто еще теплилась вера в то, что мир делится тюремной решеткой на две половины: рай и чистилище, свет и тень; настоящий ад, зона вечного мрака, располагался где-то далеко в прошлом (красный террор) или за чертой повседневного опыта (далекие Соловки, расстрельные подвалы). Взаимооткрытость и *прозрачность* обеих неравноценных половин мироздания гарантировала столь желанную стабильность и предсказуемость будущего. Ради этого многие заключенные соглашались публично (и «добровольно») заговорить голосами своих тюремщиков и воспитателей из УВЧ. Но это не значит, что новая публичная персона исчерпывающе выражала личные переживания авторов.

## 5. Текст. «Мы улучшили рисунки, мы улучшили, карректуру»<sup>35</sup>

Большинство тюремных журналов были очень похожи друг на дружку, подражая изданиям-патриархам, появившимся на свет еще до либерализации режима в декабре 1924 года. Иркутский «Наш журнал» вышел в свет в октябре 1923 года тиражом в 400 экземпляров, на 18 страницах. Такой тираж (400–500 экземпляров), формат (восьмушка, реже четвертинка печатного листа) и объем (16–18, порой до 60 страниц) были типичными для большинства тюремных журналов. Но бывали и исключения. В 1925 году начал регулярно печататься самарский журнал «На смену кандалам» тиражом 2500 экземпляров на 48 страницах форматом в половину печатного листа. Первый номер орловского журнала «Всюду жизнь» вышел в 1924 году в количестве 2500 экземпляров, второй номер появился

34 От редакции // Всюду жизнь. 1925. № 2. С. 2.

35 От редакции // На смену кандалам. 1925. № 7–8. С. 1.

только в 1925 году, но зато тиражом в 10 000 экземпляров, поставив тем самым абсолютный рекорд среди тюремной прессы.

Внутренняя структура этих журналов была однотипна и напоминала разделы провинциальных журнальчиков. Чаше всего открывала номер редакционная передовая, посвященная важному событию на «большой земле», или (по традиции толстых журналов) стихи. Иногда оба варианта объединяли, и тогда печатали вирши, которые утрировали наиболее типичные черты советской официальной поэзии 20-х годов так, что никакому желчному пародисту и в голову не пришло бы.

Об идеальном герое эпохи:

...Он сын молодой

Трудового народа:

Мать — Р.К.П.

Отец — профсоюз<sup>36</sup>.

Или о лозунге «учиться, учиться и учиться», обращаясь к почившему Ленину:

Солнце знания возстанет сияя,

Буешь знать, там в гробу не подвижный,

что ты

Не напрасно просил умирая<sup>37</sup>.

Следующий раздел (в зависимости от имеющихся в портфеле редакции материалов) посвящался «аналитическим» внешнеполитическим или научно-политическим обзорам. Обычно в них пересказывалось содержание центральной прессы, но иногда в комментариях авторов проскальзывали уж очень личностные нотки. В 1923 году заключенный Л. вдохновенно предрекал блестящее будущее авиации: «жизнь, властно требующая от нас все большей скорости в передвижении...»<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Садкин А. Рабкор // Там же. № 5–6. С. 1.

<sup>37</sup> Б.Р. Три задачи // Всюду жизнь. 1924. № 1. С. 2.

<sup>38</sup> Я.Л. Мирное развитие авиации и использование ее для военной цели // Наш журнал. 1923. № 1. С. 6.

В зависимости от той степени, в которой тюремное издание контролировалось администрацией, больше или меньше места отводилось под отчеты о деятельности УВЧ, кружков и местных мастерских, в которых работали заключенные. Вятский журнал «За железной решеткой» был, пожалуй, наиболее официальным изданием. Но даже по сравнению с другими выпусками этого журнала сдвоенный 5-6-й номер за 1923 год поражает полным отсутствием хотя бы *одного* неказенного материала.

Другим постоянным разделом тюремной периодики были библиографические обзоры пенитенциарной литературы и тюремных изданий, благодаря им мы узнаем о десятках тюремных многотиражек и даже стенгазет. Так, строгие критики малокультурного самарского журнала «На смену кандалам» журили слишком легкомысленную, на их взгляд, сталинградскую газетку «Муравейник» (тираж 20 экземпляров): «Ни одной почти деловой заметки... вся газета пестрит маленькими, ничего кроме разве улыбки на лице читателя не дающими заметками»<sup>39</sup>. Подражая «настоящим» журналам, некоторые тюремные издания пытались даже завести спортивный раздел, но поскольку писать, собственно, было не о чем, то его содержание сводилось к повторению бодрых призывов и лозунгов<sup>40</sup>. (По сути, тюремные материалы на спортивную тему были столь же искусственной риторической реальностью, как и официозные передовицы, однако пока еще никто из историков не предложил изучать физическое состояние или «политику тела» арестантов по этим артефактам официального дискурса.)

Но самое интересное в тюремной периодике 20-х годов — это, конечно же, художественное творчество заключенных. Самый безыскусный и идеологизированный *художественный* текст фиксирует, кроме прочего, фрагменты живого человеческого опыта автора. Существовал нормативный нарратив, который полагалось воспроизводить в сочинениях арестантов: неосознанная жертва нищеты и эксплуатации вступает на неверный путь и неизбежно попадает в тюрьму, где перевоспитывается.

39 Библиография // На смену кандалам. 1925. № 7–8. С. 39.

40 Бекон. Спорт в тюрьме // Там же. № 5–6. С. 16.



Политграмота делала свое дело над умом Вани... На спортивных занятиях он укрепил свое здоровье и свое тело. Быстро в нем развивалось сознание, и классовый инстинкт на каждом шагу давал себя знать<sup>41</sup>.

Но, помимо совершенно затертых клише, со страниц тюремных журналов доносятся и живые голоса людей. Они рассказывают об условиях содержания, взаимоотношениях с администрацией и ворами.

По наведенным справкам в небесной канцелярии оказалось, что сильная жара в 42 градуса ниспослана как целебное средство против невкусной каши нашей хозяйки<sup>42</sup>.

Вот больница, вот аптека,  
Фельдшер, доктор на лицо,  
А чтоб лечить им человека  
Они смотрят лишь в лицо<sup>43</sup>.

Заключенный А.К. рассказывал в этюде «По этапу» о том, как новоприбывших арестантов безнаказанно грабит шпана, пользуясь покровительством администрации (правда, в отличие от сталинских времен это покровительство объясняется не теорией «социальной близости», а банальной коррупцией)<sup>44</sup>.

И совершенно непонятно, каким образом цензура УВЧ пропустила исповедь арестованного в пивной «ни за что» мужичка, который укрылся за легкомысленным псевдонимом Ветерок:

Из расспросов я узнал, что из задержанных ни одного нет из среды преступников, а все задержаны как я — невинно. А где же виновные, думал я! И спросил об этом у товарищей, с которыми познакомился. В исправительном

41 Володин И.Г. Бытовое // Там же. С. 5.

42 Юся. Вести и слухи // Мысль заключенного. 1925. № 2. С. 12.

43 Заноза. Стихи // Там же. № 1. С. 6.

44 А.К. По этапу // За железной решеткой. Вятка: Журнал заключенных вятского исправтруддома, издаваемый под общей редакцией учебно-воспитательных частей Вятской губ. инспекции мест заключения и губполитпросвета, 1923. № 4. С. 32–36.

доме — ответили они, я по наивности поверил. Увы! и здесь я их не вижу, попав в исправдом. ...здесь все невиновные и попавшие лишь по подозрению на покушение!<sup>45</sup>

До поры до времени даже те, кто признавал, что посажен за дело, могли претендовать на *общую историю* с людьми, оставшимися на воле. Возможно, основное содержание этой истории было демагогией — но это была еще *общая* демагогия. Более того, декларируемая политическая лояльность и полное отождествление с официальным дискурсом не исключали существования собственных, *отдельных* интересов и чаяний:

Рать кайзера хлестко нас била,  
Брат брата еще не узнал...  
Свинцом нас, как мух, всех давили —  
И радостно ржал капитал.  
<...>  
Но одно лишь явление печально,  
Все волнует, будирует кровь:  
Скоро ль тюрьмы исчезнут реально —  
И не будут уж строиться вновь<sup>46</sup>.

## 6. Система. Соловецкие острова архипелага ГУЛАГ

...Заклученные в Соловках занимаются научно-исследовательской работой, и исследования их печатаются...

Из письма академика М.Н. Покровского<sup>47</sup>

И приду я к граду Китежу,  
Поклон принесу с Соловков.

<sup>45</sup> *Ветерок*. Из современного быта // Мысль заключенного. 1925. № 2. С. 7–8.

<sup>46</sup> *Шулятиков С.* Стихи // За железной решеткой. 1923. № 4. С. 9.

<sup>47</sup> *Покровский М.Н.* Письмо Е.В. Тарле, середина сентября 1931 г.: «Мне они совершенно не нужны»: Семь писем из личного архива академика М.Н. Покровского // Вестник РАН. 1992. № 6. С. 108–109.

Незримую келью вытешу

Из лазоревых облаков...

Николай Литвин<sup>48</sup>

У большого мира советской страны имелся четкий центр — Москва. А еще точнее — московский краснокирпичный Кремль. Тень, искаженное отражение этого мира, его «опричина» — словом, мир за решеткой — был мозаичен, состоял из сотен островков тюрем и домзаков. Но у этого архипелага, который станет позже известен как ГУЛАГ, был свой собственный центр — Соловецкие острова. А еще точнее — белокаменный Соловецкий кремль. Еще до того, как в 30-х в массовом сознании укрепился образ Кремля как символа СССР, соловчане воспринимали Соловецкий кремль как ось фантастического мира.

Соловки были сердцем архипелага арестантской России, потому что воплощали в наиболее концентрированной форме его родовые черты. Там оказывались специально отобранные люди, их ожидали особые испытания. Соловецкий лагерь был образцовой экспериментальной площадкой: сначала на ней проверялась система перевоспитания заключенных и создания «нового человека», потом — система массового уничтожения.

На первом этапе, в январе 1925 года, на Соловках возникла газета «Новые Соловки», а еще годом раньше начал издаваться ежемесячный журнал «Соловецкие острова». Это была лучшая тюремная газета и лучший журнал, вполне на уровне центральных изданий<sup>49</sup>. Их появление было встречено огромной восторженной статьей самого Михаила Кольцова в «Правде» и некоего В.Х.

<sup>48</sup> Литвин Н. Ко граду Китежу // Соловецкие острова. 1926.

№ 4. С. 75.

<sup>49</sup> Краткая источниковедческая характеристика этих изданий содержится в следующих работах: Мельник А., Сошина А., Резников А. Материалы к историко-географическому атласу Соловков // Звенья. М., 1991. Вып. 1. С. 303–330; Белоконов А. Начальник СЛОНа // Север. 1994. № 5–6. С. 162–168. В первом исследовании отмечается ценность соловецких изданий для изучения хозяйственной деятельности УСЛОНа, во второй статье признается их важность для изучения переживаний заключенных.

в «Красной газете»<sup>50</sup>. Последние номера «Соловецких островов» вышли летом 1930 года, в разгар массовых расстрелов заключенных. Вместе с журналом канула в небытие и надежда на интеграцию мира за железной решеткой в советское общество.

...Северные лагеря особого назначения (СЛОН) были созданы в 1921 году. Первоначально они были разбросаны вокруг Архангельска, в Холмогорах и в Пертоминске. В 1923 году было принято решение перевести лагерь на Соловецкие острова. Об этом решении на Соловках существовала легенда:

[В Константинополе] ...в этом городе неведомо с каких пор и зачем существовала старая, строгая русская библиотека... был ее хранителем мулла из Казани...

Нам двоим мулла разрешал через стекла шкапов любоваться переплетами фолиантов. А когда мы платили за его кофе и кальян, — мулла отпирал дверцы русского шкапа, а сам погружался в арабскую рукопись.

Помню, мы много раз перелистывали один старый том каких-то российских древностей. И я, как сейчас, вижу перед собою прекрасную, четкую гравюру на толстом желтом листе: вид Соловецкого монастыря!

Мы тогда ничего не говорили об этой гравюре, только спутник мой, писавший в те дни свои «Записки Простодушного», процедил сквозь зубы:

— Там «у них» теперь ссылка. Бурцев писал...

Тогда еще «там» не было ссылки, но Бурцев уже писал!

...Владимир Львович Бурцев подсказал. Советская власть приняла проект<sup>51</sup>.

Соловки в наибольшей степени походили на «настоящий» мир. В пределах окруженной морем суши заключенные пользовались большей или меньшей степенью свободы передвижения, вместо каменных стен тюрьмы их окружала северная природа. Несмотря на все запреты администрации, солдовчане умудрялись даже крутить романы. Как о примечательном и вполне типичном явлении об этом рассказывалось в журнальных рассказах и даже в литературных пародиях:

<sup>50</sup> Кольцов М. СЛОН пишет // Правда. 1926. № 75 (3304). 2 апреля; В.Х. Люди на острове // Красная газета, вечерний выпуск. 1926. № 101 (1105). 29 апреля.

<sup>51</sup> Литвин Н. Зима во льдах // Соловецкие острова. 1926. № 4. С. 3.

...А там, за далью принудительной,  
Над пылью повседневных сук,  
СЛОН серебрится упоительный  
И раздается чей-то «стук».

А дальше, за постами самими —  
Касаясь трепетной руки,  
Среди канав гуляют с дамами  
Рисующие остряки<sup>52</sup>.

Вольнонаемные служащие Экспортлеса воспринимались заключенными *буквально* как иностранцы, пришельцы из других земель<sup>53</sup>. Эта иллюзия «нормальной», пусть и стесненной жизни гипнотизировала людей. Они знали об окружающих их ужасах, многое проникло даже на страницы журнала: «Ночью опять расстреляли двоих... На секирной горе... Не знаете еще? С ума можно сойти... Страшно... И нет выхода...»<sup>54</sup>

На самом деле все было еще страшнее, чем рассказывают подцензурные тюремные журналы<sup>55</sup>. По свидетельству самих авторов, люди стремились забыть, отдавшись работе, культурной деятельности: на острове одно время соперничали целых два драматических театра, много сил забирали газета и журнал, кабинет изучения преступности, научные, краеведческие кружки и т.п. В 1926 году еще верили: «„Соловки“ — это искупление за неприятие революции: искупление и прозрение»<sup>56</sup>.

52 Казарновский Ю. Литературные пародии // Там же. 1930. № 5. С. 18.

53 Кюнерт М. Ночная смена // Там же. № 1. С. 30.

54 Литвин Н. Зима во льдах... С. 11.

55 См. список источников по истории соловецких лагерей в работе: Мельник А., Сошина А., Резникова А., Резников А. Материалы к историко-географическому атласу Соловков... С. 305–306. Часть рукописных материалов, упомянутых в этом списке, была позже опубликована (напр.: Лихачев Д.С. Соловецкие записи, 1928–1930 // Лихачев Д.С. Статьи разных лет. Тверь, 1993. С. 15–30). Появляются и новые исторические исследования: Бродский Ю. Красный слон на Белом море // Северные просторы. 1992. № 5–6. С. 23–27; Белоконов А. Начальник СЛОНа // Север. 1994. № 5–6. С. 162–168; Театр ГУЛАГа: воспоминания, очерки / Сост. М.М. Кораллов. М., 1995; Система исправительно-трудовых лагерей в СССР / Сост. М.Б. Смирнов. М., 1998.

56 Глубоковский Б. Путешествие из Москвы в Соловки // Соловецкие острова. 1926. № 4. С. 80. Борис Глубоковский (1894–1934) — актер

И не так, как сейчас скованный,  
Буду я  
Все-таки петь<sup>57</sup>.

Среди заключенных-авторов были бывшие работники МУРа и даже ГПУ. Стремительное низвержение из Москвы в Соловки оставляло надежду на столь же стремительную перемену фортуны в обратном направлении.

В 1930 году иллюзий не оставалось, срок не кончался, надежды на возвращение домой не было. Проблематичным было само выживание. Остроумный и плодовитый автор «Соловецких островов» Юрий Казарновский передавал это ощущение в литературных пародиях — скрываясь за маской пародируемого автора, помещая тоскливую жалобу в снижающий смеховой контекст и тем усыпляя цензуру:

Ты еще жива, моя старушка,  
Жив и я. Привет тебе, привет...  
Получил в посылке я подушку  
И цилиндр с парюю штиблет.  
Слышал я: тая тоску во взоре,  
Ты взгрустнула шибко обо мне.  
Ты так часто ходишь к прокурору  
В старомодном ветхом шушуне.

<...>

Я по прежнему такой же нежный,  
И мечта одна лишь в сердце есть,  
Чтоб скорей от этой вьюги снежной  
Возвратиться к нам — на минус шесть<sup>58</sup>.

Камерного театра, режиссер и писатель, был осужден на 10 лет в 1925 году по делу «Ордена русских фашистов». За активную культурно-просветительскую деятельность на Соловках его срок был сокращен до 8 лет, умер в Москве.

<sup>57</sup> Евреинов Б. Ночь // Соловецкие острова. 1926. № 7. С. 30.

<sup>58</sup> Казарновский Ю. Недошедшее «письмо к матери» // Соловецкие острова. 1930. № 1. С. 64. Юрий Казарновский (1904–1956) своими пародиями смягчения своей участи, видимо, не заслужил, с перерывами провел в заключении много лет и смог вернуться в Москву лишь незадолго до смерти.

Или:

Отныне яд коварных действий  
Лубянки не встревожит ум,  
Отрекся я от глупой мести,  
Отрекся я от гордых дум.  
Хочу отныне примириться с Лубянкой 2...<sup>59</sup>

Но этого уже не хотела Лубянка.

На какое-то время в середине 20-х годов возникла иллюзия, что желанная гармония между двумя мирами наконец достигнута. Следуя логике официальной советской риторики, редакция журнала «Всюду жизнь» (скорее всего, устами энтузиаста, инициатора этого издания заключенного Виктора Туровца) призвала в прекраснодушном порыве: «Заключенных много, они могут и должны создать один коллектив, а у последнего и силы, и воли, и возможностей много»<sup>60</sup>.

Вряд ли эта перспектива привлекала советские карательные органы. Но все же до конца 20-х столь могущественное средство коммуникации и пробуждения общего самосознания заключенных, как тюремная пресса, продолжало свое существование. Кажется, гетерогенное советское общество начинало наконец преодолевать внутреннюю разобщенность. Даже люди за железной решеткой пытались преодолеть отчуждение, навязываемое извне самими обстоятельствами заключения и изнутри сознанием своей социальной маргинальности. В теневой половине Страны Советов в 20-х годах шел тот же эксперимент, что и в стране в целом, — «выковывался» (перековывался) новый человек. Мир за решеткой воспринимался как один из испытательных полигонов, теневая половинка, неотделимая от большого живого организма. Именно поэтому между ними происходил диалог, обмен идеями и людьми (которым было еще позволено возвращаться в «нормальную» жизнь), и оба мира естественным образом интересовались друг другом.

Это страстное желание преодолеть раскол было сильнее неприязни по отношению к официальной пропаганде. Ради дости-

59 Казарновский Ю. Демон // Там же. № 4. С. 47.

60 От редакции // Всяду жизнь. 1925. № 2. С. 2.

жения единства после десятилетия Гражданской войны люди были готовы совершить многое и переступить через многое. Заключенные (пока только они) готовы были публично отказаться от своей «субъективности» и принять роль, предлагаемую, вроде бы, властью в обмен на перспективу социальной реабилитации и интеграции. Тюремная периодика является массовым источником, задокументировавшим этот процесс: под давлением и в заключении, но вполне сознательно люди выбирают покой ценой воли. Правда, нормативная социальная роль ничем не напоминает образцового «субъекта» из новейших работ по советской субъективности: это, скорее, знакомый всем советским людям персонаж из «Кодекса строителя коммунизма», лояльный и дисциплинированный, являющийся субъектом всемирно-исторического процесса лишь постольку, поскольку послушно следует законам исторического материализма и генеральной линии партии. Тюремная литература 20-х годов позволяет понять, что идеальный сталинец не явился *deus ex machina* в результате некой бестелесной дискурсивной операции, а формировался долгие годы в обстановке страха и лишений, перманентной гражданской войны и желания покончить с ней, как и вообще с затянувшимся аномическим состоянием общества. Режим, открыто призывавший к тотальному единству и получивший поэтому поддержку граждан, в полной степени воспользовался этой готовностью. Общество стало управляться при помощи «техник», прежде применявшихся по отношению к заключенным, а мир за решеткой превратился в вещь в себе, в «чуждую планету» небытия, откуда «возврата уж нету». Но если даже послушные арестанты не растворялись без остатка в навязанной им публичной субъективности, можно ли ожидать полного растворения «сокровенного человека» в сталинской официальной субъективности 30-х годов лишь на том основании, что в тотально контролируемом интертекстуальном пространстве эпохи поверхностный анализ не обнаруживает прямых манифестаций этой неофициальной идентичности?



## Афера Мошенники и построение нового советского человека в статьях американских историков

Это не совсем обычная рецензия, поскольку посвящена журнальным статьям<sup>1</sup>, а не монографиям, — впрочем, не совсем обычна и тема обсуждаемых работ: феномен аферистов-самозванцев в ранне-сталинский период (конец 1920-х — конец 1930-х годов). Сама идея рецензии на журнальные статьи не столь уж и неожиданна. При всей занимательности темы обсуждаемых работ и важности ее для понимания динамики формирующегося сталинского режима и общества, вряд ли в ближайшее время появятся самостоятельные монографии, посвященные этим сюжетам: слишком мало необходимых источников, слишком затруднен доступ к архивам советских карательных органов, слишком кропотлива работа по выявлению крупных необходимых сведений. В то же время можно говорить уже о появлении целой серии статей, посвященных теме жуликов и самозванцев в годы первых пятилеток, заслуживающей отдельного обсуждения. А главное, эти статьи оказались вписанными в контекст популярного и влиятельного в США историографического направления — истории раннесоветской «субъектности», поэтому по своему историографическому и методологическому значению рассматриваемые работы выходят далеко за пределы истории жуликов и девиантного социального поведения в СССР.

<sup>1</sup> Alexopoulos G. Portrait of a Con Artist as a Soviet Man // *Slavic Review*. Vol. 57. № 4 (Winter 1998). P. 774–790; Fitzpatrick S. Making a Self for the Times: Impersonation and Imposture in 20-th-Century Russia // *Kritika*. Vol. 2. № 3 (Summer 2001). P. 469–487; Fitzpatrick S. The World of Ostap Bender: Soviet Confidence Men in the Stalin Period // *Slavic Review*. Vol. 61. № 3 (Fall 2002). P. 535–557.

Впрочем, вышедшая первой из рассматриваемых статей, «Портрет афериста как советского человека» Гольфо Алексопулос, является именно попыткой нарисовать комплексный социальный портрет традиционно игнорируемой в историографии маргинальной группы и лишь косвенно — аргументом в дискуссии о природе нового *homo soveticus*. Статья написана на основе дела Владимира Громова (Гриншпана), хранящегося в фонде Прокуратуры СССР в ГАРФе. Несмотря на многие лакуны и на недоступность следственного дела Громова в фондах НКВД, автору удалось восстановить основные вехи необычной истории Громова. Начиная по крайней мере с 1922 года Гриншпан-Громов (он официально сменил фамилию в 1927 году) колесил по стране, выдавая себя то за архитектора, то за инженера, приписывая себе героическое революционное прошлое, членство в партии, воинские звания<sup>2</sup>. Несмотря на четыре судимости в годы НЭПа и пять уголовных исследований, возбужденных против него в годы первых пятилеток, он успешно продолжал карьеру афериста, эксплуатируя свои блестящие социабилные способности и острую нужду советской системы в квалифицированных специалистах.

Пожалуй, именно минимум предоставлявшихся Громовым поддельных документов и сертификатов устраивал его нанимателей больше всего, ибо *известные* специалисты уровня, на который претендовал Громов, почти неизбежно обладали компрометирующим прошлым. Громов менял до восьми мест работы за полгода, оформляясь на место, он брал аванс, часто командировочные средства — и исчезал, чтобы объявиться уже в другом уголке страны, за тысячи километров. Несмотря на ужесточившийся полицейский режим в СССР, он не боялся козырять самыми ответственными документами, носил форму ОГПУ и даже выдавал себя за начальника концлагеря. Как пишет Алексопулос, Громов добивался успеха не вопреки, а благодаря складывающейся системе, для которой были характерны невероятная зыбкость социальных границ и высокая вертикальная мобильность, доверие к формальным документам и сертификатам и еще большее — к тем, кто грамотно

<sup>2</sup> Alexopoulos G. Portrait of a Con Artist as a Soviet... P. 777; далее ссылки на эту статью даются непосредственно в тексте с указанием номера страницы.

воспроизводил официозную риторику и идеологические клише (778–781). Владимир Гриншпан, принявший накануне первой пятилетки звучную и амбициозную фамилию Громов, вполне соответствовал эпохе официального оптимизма и завышенных обязательств. Алексопулос пишет, что, когда Громов окончательно попался и ему было предъявлено обвинение, в частности, в систематическом самозванчестве, он заявил: если я и присваивал звание инженера без права на то, все равно за шесть лет я приобрел опыт в области строительства (781–782). В этом отношении он не так уж и отличался от инженеров-выдвиженцев, которые приобретали необходимую квалификацию в процессе работы. Вполне в духе эпохи Громов добивался своего настойчивыми петициями, щедро одобренными идеологической демагогией. И достаточно характерна тактика защиты, принятая Громовым, когда над ним сгустились тучи: он начал строчить доносы и обвинять окружающих во всех смертных грехах (прежде всего во вредительстве). Если рассматривать преступность как одно из проявлений спонтанных процессов самоорганизации общества, которые питают все виды социальной практики, то Громов вполне органично вписывается в контекст стремительно развивающегося советского общества конца 1920-х — начала 1930-х годов.

Тем не менее, несмотря на блестящее имитирование аферистом социальных техник и добродетелей формирующегося «советского человека», кажется проблематичной попытка автора представить Громова как прямое порождение раннесталинской системы, пусть и карикатурное. Ключом к пониманию взаимоотношений между Громовым и сталинским советским обществом является история последнего ареста Громова. На протяжении более десяти лет Громов бесследно исчезал после успешного завершения очередной аферы. Однако, устроившись в 1934 году на работу «инженера-архитектора» в «Главрыбу», он не торопился скрыться. Более того, он всячески афишировал себя на новом посту, добился публикации своей фотографии с подписью в журнале «За пищевую индустрию», а когда над его головой начали сгущаться тучи, Громов не исчез в очередной раз, а смело вступил в открытый конфликт, отстаивая подлинность своей легенды. Как объяснить столь резкую перемену тактики афериста-самозванца?

Гольфо Алексопулос допускает, что Громов в конце концов вжился в очередной образ, созданный им, а скорее всего, считал свое окружение в «Главрыбе» (читай: в советской номенклатуре) такими же проходимцами и выскочками, ничуть не лучшими, чем он сам (781). Эта интерпретация парадоксальным образом обыгрывает давний тезис сталинской юриспруденции о «социальной близости» определенной категории уголовных преступников режиму и предполагает, что режим «узнал своего» в Громове точно так же, как Громов считал функционеров режима подобными себе. Эта версия, кажется, находит подтверждение в достаточно отрывочных сведениях о судьбе Громова после ареста: приговоренный к смерти, он добивается смягчения приговора бесконечными прошениями и созданием графоманской пьесы на тему личной жизни ответственных работников. Как пишет автор статьи, «Громов, видно, сделал что-то правильно, раз его пьеса привлекла внимание заместителя Генерального прокурора СССР...» (788).

Однако кульминация истории Громова в 1934 году может иметь и иное объяснение. Громов легко выходил сухим из воды на протяжении 1920-х годов, когда законодательство было относительно либеральным по отношению к экономическим преступлениям, а карательный аппарат был сосредоточен на борьбе с антисталинской внутрипартийной оппозицией и реальными и мнимыми антисоветскими группами. В условиях отсутствия централизованного и тотального контроля над документами, удостоверяющими личность, Громову даже не приходилось скрывать свою фамилию, ввязываясь в очередную авантюру. Ситуация резко меняется в начале 1930-х годов, в обстановке консолидации сталинского режима и провала первой пятилетки. С принятием закона «семь-восемь» (от 7 августа 1932 года) «Об охране имущества государственных предприятий... и укреплении... социалистической собственности» присвоение госимущества (в том числе и растраты) приравнялось к самым тяжким государственным преступлениям и каралось расстрелом. В то же время проводится всеобщая паспортизация, вводится единый стандартный документ, удостоверяющий личность гражданина СССР, достаточно хорошо защищенный от подделок. Если раньше, особенно на периферии, Громов мог предъявлять некий набор документов и свидетельств,

степень подлинности которых трудно было определить на месте, то в скором времени все кадровики страны знали, как выглядит внутренний паспорт, и требовали при трудоустройстве именно его, а не замещающие документы. Устроившись весной 1934 года на работу в «Главрыбу», Громов мог считать себя счастливым и, вероятно, пытался легализоваться просто потому, что в 1934 году *ему уже некуда было бежать*. Вывод Гольфо Алексопулос о том, что Владимир Громов был создан «по образу и подобию» сталинизма и воплощал в себе, пусть в сниженном виде, нормативные черты идеального советского человека сталинской эпохи (790), трудно увязать с тем, что удачливая карьера этого афериста закончилась именно в 1934 году, отмечающем окончательное становление сталинской диктатуры. Похоже, Громов мог интуитивно находить слабые места еще не сформировавшейся системы, но играть по ее правилам он по-настоящему так и не научился, что делает крайне проблематичным вывод о его «советскости».

Если для Гольфо Алексопулос Владимир Громов прежде всего является аферистом, мошенником («con artist»), который умудряется эксплуатировать, казалось бы, непреступную и репрессивную советскую систему, то для Шейлы Фитцпатрик Громов и подобные ему персонажи интересны в первую очередь как новые самозванцы. Об этом свидетельствует само название статьи, опубликованной в журнале *Kritika* в 2001 году (но, очевидно, написанной позже той статьи, которая была опубликована в 2002 году в *Slavic Review* и в основу которой лег доклад Фитцпатрик на ежегодной конференции американской славистской ассоциации AAASS 1997 года): «Сотворение себя для эпохи: воплощение и самозванство в России в XX веке». Исходный тезис Фитцпатрик, объясняющий ее взгляд на мошенников раннесталинского периода, прост: в ходе построения нового общества «было необходимо переизобрести себя в качестве советского гражданина и — еще более настоятельно — установить приемлемую классовую идентичность»<sup>3</sup>. В другой статье Фитцпатрик поясняет свою мысль конкретнее: «Точно так же, как Громов чувствовал, что стал более или менее настоящим инженером, так же и обыкновенный не нарушающий закон гражданин, скрывающий нежелательное социаль-

3 Fitzpatrick S. Making a Self for the Times... P. 469.

ное происхождение, мог сказать, что он „начал чувствовать себя человеком, за которого себя выдавал“»<sup>4</sup>.

Таким образом, Фитцпатрик напрямую вписывает историю удачливого мошенника Громова в контекст большевистского плана по созданию нового человека социалистического общества и современной историографической дискуссии вокруг проблемы «советской субъектности» как некой дискурсивной и социальной реальности. Понятно, что для столь амбициозного проекта одной истории Громова недостаточно, поэтому Фитцпатрик находит по крупницам (в основном в газетах) аналогичные сюжеты, особенно много примеров приведено ею в статье в *Slavic Review* «Мир Остапа Бендера: советские мошенники в сталинский период». Опираясь на свои примеры, Фитцпатрик пытается наметить некие закономерности в деятельности советских аферистов. Так, расцвет мошенничества на доверии в СССР объясняется тремя благоприятными обстоятельствами: неутолимой жадностью советских бюрократов всякого рода документов, невероятной доверчивостью многих официальных лиц после того, как им предъявлялись некие документы, и сравнительной легкостью, с которой можно было добыть поддельные документы (540). По наблюдениям Фитцпатрик, довоенные аферисты смело принимали обличье известных государственных деятелей или открывали целые фиктивные госучреждения (типа «рога и копыта») (542–543). На основании обнаруженных единичных случаев Фитцпатрик даже делает предположение об этничности типичного мошенника: со многими оговорками она приходит к выводу, что среди мошенников евреи встречались гораздо реже до войны, чем после войны (546, 551–555).

Расширяя хронологические рамки темы вплоть до смерти Сталина, Шейла Фитцпатрик тем самым демонстрирует, что самозванцы и мошенники не исчезли в СССР в годы первых пятилеток. Сам по себе этот тезис не вызывает возражений: сталинизм не смог покончить с преступностью, и лагеря были наполнены не только политическими заключенными или невинными жертвами драконовских законов о прогулах или уже упоминавшегося «семь-восемь» (он же «за колоски»). Елена Осокина, к примеру, смогла

<sup>4</sup> *Fitzpatrick S. The World of Ostap Bender...* P. 545; далее ссылки на эту статью даются непосредственно в тексте с указанием номера страницы.

обнаружить в материалах НКВД самых настоящих «сталинских миллионеров», которые сколотили крупные (даже по сегодняшним российским меркам) состояния в самый пик Большого террора<sup>5</sup>. Вполне естественно, что и более заурядные жулики продолжали свою деятельность даже в обстановке плотного полицейского контроля. Однако сомнения вызывает настойчиво декларируемый тезис Фитцпатрик: самозванцы-аферисты были оборотной стороной успешного проекта по созданию Нового Советского Человека (557), именно этим объясняется их процветание на протяжении всего сталинского периода.

Прежде всего, такому выводу противоречит сам эмпирический материал, представленный в статье. Большинство случаев мошенничества в 1920–1930-х годах, о которых Фитцпатрик сообщает подробности, относится к провинции (543–544). Послевоенный период во многом описан на основании глухих ссылок на газеты и фельетоны из «Крокодила», остальные случаи, за исключением двух особенно дерзких, относятся к недавно освобожденным от оккупации территориям (547–549, 553–554). Не забудем, что архетипический самозванец Громов погорел именно в Москве, где пытаясь легализоваться, неудачно мимикрируя под среду<sup>6</sup>. Буквальная *маргинальность* успешных самозванцев ставит вопрос о том,

5 См., например: Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927–1941. М., 1999. С. 226.

6 Аналогом Громова для послевоенного периода является в исследовании Фитцпатрик Вениамин Борухович Вайсман, чья деятельность в 1946–1947 годах (в отличие от Громова, по преимуществу протекавшая в Москве) известна благодаря досье МГБ. Пользуясь поддельными документами Героя Советского Союза и выдавая себя за инвалида войны, Вайсман выбивал в союзных министерствах, МГК партии и Академии наук деньги, товары и даже квартиру (548–550). При этом Шейла Фитцпатрик никак не анализирует разницу между социальными контекстами, в которых действовали мошенники в период первых пятилеток и в послевоенные годы. Вайсман выдавал себя за инвалида войны, потому что ему ампутировали руку и обе ноги, обмороженные во время неудачного побега из лагеря, где он отбывал, судя по всему, нешуточный срок. То, через что прошел Вайсман, не снилось и в кошмарном сне жуликам в 1920-х годах, поэтому проведение безоговорочных параллелей между действиями Вайсмана и Громова вызывает недоумение.

в какой мере они воплощали в себе черты «мейнстримного» нового советского субъекта. Почему же они предпочитали действовать в стороне от столицы, где успешное овладение новыми социальными навыками и этосом обещало скорый и громкий успех, и ехали в бедную провинцию, где даже партийные функционеры не всегда могли «на слух» отличить троцкистскую и бухаринскую (в равной мере «советскую») риторику?<sup>7</sup> Как представляется, попытка представить жуликов-самозванцев инвариантном глобального социального процесса создания «советского субъекта» может оказаться успешной только путем целого ряда логических подмен, которые особенно бросаются в глаза в наиболее «теоретической» статье Шейлы Фитцпатрик, опубликованной в *Kritika*.

Прежде всего, обращает на себя внимание попытка свести феномен «идентичности» в раннесоветском контексте к социальному статусу: «В большевистском дискурсе не было прямого эквивалента термину „идентичность“... Но в повседневном употреблении 1920-х и ранних 1930-х гг. был знакомый термин для [обозначения] того вида идентичности, в котором большевики были наиболее заинтересованы, а именно классовой идентичности: *классовое лицо*...»<sup>8</sup> Шейла Фитцпатрик является одним из крупнейших знатоков раннесоветского периода, а большевики действительно были склонны обуславливать проявления духовной деятельности социальной средой. Однако возникает вопрос, о каком конкретно «большевистском дискурсе» идет речь и почему надо переводить *identity* как «классовое лицо», а не «самосознание» или, тем более, «классовое самосознание» — термины, которые действительно использовались в 1920-х годах Троцким, Бухариным и даже Сталиным<sup>9</sup>. Понятно, что «классовое самосознание», в от-

7 Сама Шейла Фитцпатрик приводит удивительный случай, когда в 1927 году в Казахстане некий Мухаровский выудил у партийных органов 9 тысяч рублей и пишущую машинку, выдавая себя за эмиссара «Московского Центра» левой оппозиции. См.: *Fitzpatrick S. The World of Ostop Bender...* P. 544.

8 *Fitzpatrick S. Making a Self for the Times...* P. 471.

9 Например, Н.И. Бухарин писал про «групповое самосознание» (*Бухарин Н.И. Энчмениада: К вопросу об идеологическом вырождении* // Красная Новь. 1923. Кн. 6) и о пролетариате, поднимающемся «на ступеньку выше в своем сознании» (*Бухарин Н.И. Новое откровение о советской*



личие от «классового лица», невозможно доказать (или «подделать») при помощи документов (что, в частности, объясняет болезненность партийных чисток, которые иначе сводились бы к рутинной проверке документов в отделе кадров). Поэтому параллель между лжеинженером и советским гражданином, претендующим на чужое «классовое лицо», является искусственной, коль скоро речь идет именно об *идентичности*.

Далее, для первого, криминального случая выдавания себя за другого Фитцпатрик резервирует понятие «самозванство», а для второго, касающегося массовой социальной инженерии, — «воплощение». Между ними проводится нарочито тонкая грань: «воплощение является [театральным] представлением, которое воспринимается наблюдателем как искреннее (не двуличное); самозванство является представлением, воспринимающимся как обман»<sup>10</sup>. Таким образом, критерием удачности социального эксперимента по созданию нового советского человека-субъекта является создание нового советского человека-субъекта, верящего в искренность произошедшей с ним трансформации; все те, кто цинично притворяются, являются по определению мошенниками, и *vice versa*. При этом упускается действительно ключевое и «объективное» различие между «самозванством» и «воплощением»: аферист-самозванец примеряет реально существующую социальную роль с четко очерченными функциями, правами и обязанностями, культурным и политическим горизонтом и т.п. Гипотетический «советский человек» является фикцией, которой не существует в природе и чьи «параметры», даже в самых общих чертах, не будут сформулированы до самого конца сталинизма, до принятого на XXII съезде КПСС «Морального кодекса строителя коммунизма». Поэтому невозможно не только самозванно узурпировать самосознание нормативного советского субъекта, его нельзя даже, при всей искренности намерений, *воплотить*, поскольку неизвестен сам

экономике, или как можно погубить рабоче-крестьянский блок: К вопросу об экономическом обосновании троцкизма. М.; Л., 1925). Л.Д. Троцкий говорил о «партийном самосознании» и «сознании партии» (Троцкий Л.Д. Новый курс. М., 1924). И.В. Сталин писал о необходимости «подымать массы до уровня сознания партии» (Сталин И. К вопросам ленинизма. М.; Л., 1926).

<sup>10</sup> Fitzpatrick S. Making a Self for the Times... P. 472.

предмет «субъективизации». Можно пытаться *угадать*, что это такое и как может выглядеть, но после мучиться от все равно остающегося зазора между абстрактным идеалом и конкретным «воплощением», возможно, доверяя эти муки дневниковым записям...

Шейла Фитцпатрик игнорирует это различие, что приводит к следующему противоречию: воплощение нового самосознания «включало в себя универсальную задачу научиться быть советским гражданином (в терминах Стивена Коткина, научиться „говорить по-большевистски“)..."»<sup>11</sup>. Если прежде речь шла о том, что аферисты-самозванцы сниженно повторяли процесс искреннего воплощения нового социального самосознания, охвативший миллионы искренних советских граждан, то теперь вся схема ставится с ног на голову. Оказывается, достаточно было освоить достаточно формальные и инструментальные навыки поведения, чтобы стать новым советским человеком, то же самое проделывает и мошенник, стремясь выдать себя за инженера и потому усваивая определенную манеру поведения и речи. Получается, что весь проект «переизобретения себя как советского гражданина» был грандиозной аферой?

Вряд ли Шейла Фитцпатрик согласится с таким выводом. Однако все систематические попытки Фитцпатрик представить «самозванство» как обратную сторону «воплощения» и эпизодические попытки ее бывшей ассистентки по одному из исследовательских проектов Гольфо Алексопулос представить афериста как нового советского человека вступают в конфликт с эмпирическим материалом. Косвенным, но очень ярким показателем удивительной исторической нечуткости, проявляющейся в этих попытках, служит использование литературного персонажа Остапа Бендера в качестве символа «нового советского субъекта/афериста»<sup>12</sup>. Трагический и принципиально космополитический образ последнего представителя «свободных профессий» и просто личной свободы<sup>13</sup>, принципиальный антисоветчик Бендер оказывается

<sup>11</sup> *Fitzpatrick S. Making a Self for the Times...* P. 473.

<sup>12</sup> *Alexopoulos G. Portrait of a Con Artist as a Soviet...* P. 776; *Fitzpatrick S. Making a Self for the Times...* P. 477–482; *Fitzpatrick S. The World of Ostap Bender...* P. 537.

<sup>13</sup> Имя сына турецко-подданного Остапа Бендера предлагает очень простую и ясную шараду к слову «Одесса», самому свободному

хитроумным еврейским дельцом и одновременно «экземпляром само-делания» (557) (но не ради победы социализма, а ради личной выгоды). В переводе Фитцпатрик легкомысленный и ироничный «идейный борец за денежные знаки» оказывается не больше и не меньше, как «идеологическим воином» (*ideological warrior* [556]). Удивительным образом ни Фитцпатрик, ни Алексопулос не узнали «своего» персонажа в скромном конторском служащем Александре Ивановиче Корейко, который действительно был самозванцем, мошенником и подпольным миллионером, сторонился публичности и крупных городов и прекрасно «воплотил» персону нормативного советского гражданина-субъекта...

Интереснейшие истории раннесоветских аферистов показывают, что даже сталинская «тоталитарная» система имела слабые места. Однако авторам рассмотренных исследований не удалось показать, каким образом мошенники находили эти уязвимые места: потому ли, что в совершенстве знали, как устроена система (что требовало, пожалуй, большего, чем даже воплощение некой «нормативной субъектности»), или потому, что интуитивно находили некие маргинальные «серые зоны», в которых многое решалось доверием — оттого ли, что еще не были введены новые системы контроля (в провинции), или потому, что системы контроля казались непроницаемыми (в центральных министерствах). Также остается непонятным, о чем свидетельствуют описанные истории советских аферистов: то ли о том, что движение по созданию нового «советского субъекта» было столь мощным, что вовлекло в свою орбиту даже жуликов, то ли о том, что это движение само было грандиозной аферой. Проблема заключается, возможно, в отсутствии ясной модели взаимодействия мошенников с конкретной социальной средой (нанимателями и контрольными органами, судом и следствием, подчиненными и соседями), а не с некими

и космополитическому городу и некогда свободному порту российской империи, расположенному между землями Украины (ср.: Остап, укр., от греч. Евстафий) и молдавскими Бендерами. Смешные цитаты из речей присяжных поверенных и газетных репортажей в языке Бендера, а также то обстоятельство, что ни квартиры в Москве, ни даже пишущей машинки ему так и не удалось стяжать на ниве хищения госсобственности и *самозванства*, указывают на то, что Остап Бендер — герой совсем другого романа...

абстрактными сущностями (типа «субъектности» или *Zeitgeist*). Также странно полное игнорирование объясняющего потенциала истории и социологии преступности, а ведь современная криминальная социология как раз и описывает преступность, в частности, как важнейший и даже необходимый интеграционный механизм, служащий «для координирования отношений между различными дискурсами и системами»<sup>14</sup>. Как кажется, именно этот средний уровень анализа (между конкретными историями и большими теориями), отсутствующий в работах Алексопулос и Фитцпатрик, должен оказаться в центре внимания последующих работ на эту захватывающую тему.

<sup>14</sup> *Bussman K.-D. Variation, Selection and Stabilization: An Evolutionary Theory of Crime and Control // Social Dynamics of Crime and Control: New Theories for a World in Transition / Ed. by Susanne Karstedt and Kai-D. Bussman. Oxford; Portland, Oregon, 2000. P. 253.*

## «Кутеж трех князей в зеленом дворике», или Рождение «либеральной империи»

We three kings of Orient are;  
Bearing gifts we traverse afar,  
Field and fountain, moor and mountain,  
Following yonder star.

JOHN H. HOPKINS, JR., 1857

Даже самые отчаянные сторонники «интеллектуальной истории» редко претендуют на указание точной даты рождения той или иной идеи или концепта, обычно удовлетворяясь установлением конкретного автора и первоисточника (архетипического текста). Однако рождение концепции «России — либеральной империи» как публичного дискурса можно проследить по датам, едва ли не по часам. 29 сентября 2003 года Анатолий Чубайс выступил в аудитории Инженерно-экономического университета Санкт-Петербурга с программой построения в России либеральной империи. 1 октября 2003 года сотни тысяч читателей «Независимой газеты» познакомились с этой идеей, прочитав статью Чубайса «Миссия России в XXI веке», переработанную из доклада 29 сентября. Наконец, 10 октября 2003 года, в 7 часов вечера по московскому времени, десятки миллионов зрителей федерального «Первого канала» телевидения увидели очередную программу Светланы Сорокиной «Основной инстинкт», посвященную «презентации» и обсуждению этой идеи Анатолия Чубайса под названием «Империя для народа». Идея овладела массами, и есть все основания ожидать, что она может стать материальной силой...

Понятно, что по мере распространения и освоения первоначальная концепция Чубайса будет претерпевать существенные изменения, тем более — в процессе реализации, если до этого когда-нибудь дойдет дело. В этом смысле показательно уже публичное обсуждение проекта либеральной империи в достаточно узком и гомогенном кругу экспертов, приглашенных на шоу Сорокиной: оно выявило как некоторые ключевые свойства, изначально заложенные в самой концепции, так и основные варианты дальнейшей ее интерпретации. Для начала процитируем ключевые тезисы из статьи Чубайса:

Россия — единственный и уникальный естественный лидер на всем пространстве СНГ и по объему своей экономики, и по уровню жизни своих граждан.

Поэтому от констатации факта перейду к постановке задачи — Россия не просто является лидером, она может и должна всемерно наращивать, усиливать и укреплять свои лидирующие позиции в этой части планеты в следующие 50 лет.

Скажу больше. Идеологией России, по моему глубокому убеждению, на всю обозримую историческую перспективу должен стать либеральный империализм, а миссией России — построение либеральной империи. Это именно то, к чему мы естественно пришли всей своей новейшей историей, это то бесценное, что мы можем и должны извлечь из истории XX века, это именно то, что свойственно, естественно и органично для России — и исторически, и геополитически, и нравственно. Это, наконец, задача такого масштаба, которая поможет нашему народу окончательно преодолеть духовный кризис и по-настоящему сплотит и мобилизует его.

...Прежде всего надо четко определить, что включает в себя «либеральный империализм» как миссия России в XXI веке, а чего ему ни в коем случае приписывать не надо. Начнем с последнего.

1. Мы, конечно же, не собираемся отказываться от принципа нерушимости границ и территориальной целостности наших соседей...

2. Либеральная империя в своих действиях в соседних странах не может нарушать общепризнанные нормы международного права.

А что может и должна делать будущая российская либеральная империя, какими будут сферы и каналы ее влияния на соседние страны?

1. Содействие развитию русской культуры и культуры других народов России и защита русских и русскоязычных граждан в соседних странах.

2. Экономика и бизнес. Российское государство может и должно содействовать экспансии отечественного бизнеса в соседние страны как в торговле, так и в приобретении и развитии активов.

3. Свобода и демократия. Российское государство заинтересовано в поддержании, развитии, а при необходимости — и в защите базовых демократических институтов, прав и свобод граждан в соседних странах.

Это понимание миссии России позволяет полностью переосмыслить фундаментальные вопросы нашей внешней политики не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Так, многострадальный вопрос о вступлении России в ведущие политические и военные структуры Европы — Евросоюз и НАТО — решается однозначно: нам не надо вступать ни в Евросоюз, ни в НАТО. Мы не «поместимся» туда ни экономически, ни политически, ни географически.

Вместо этого надо увидеть стратегически прорисовывающееся кольцо великих демократий Северного полушария XXI века — США, объединенная Европа, Япония и будущая Российская либеральная империя. У нас появляется органичное и естественное место и уникальная роль — замкнуть кольцо. И обеспечить себе целую систему экономических, военных и политических соглашений, защищающих наши интересы внутри кольца и во всем мире. И тогда Россия встанет на равных с достойными нас партнерами, чтобы вместе, сообщая отстаивать порядок и свободу на земле.

В этой миссии — великое будущее нашей великой Родины<sup>1</sup>.

В этом тексте обращают на себя внимание два момента. Прежде всего, перед нами явно предвыборная программа, текст призван не столько ознакомить читателя с некими давно созревшими идеями, сколько привлечь максимальное количество потенциальных сторонников неким смелым видением будущего. В этом отношении, как нехотя признал на обсуждении 10 октября даже Григорий Явлинский, проект Чубайса полностью соответствует поставленной цели. На фоне абсолютно скудных лозунгов всех политических сил, собирающихся на выборы в Государственную думу, подаренный Анатолием Чубайсом СПС проект «либеральной империи» выделяется амбициозностью и размахом, но также — доступностью подачи и психологической близостью многим изби-

<sup>1</sup> Чубайс А. Миссия России в XXI веке // Независимая газета. 2003. № 209 (3041). 1 октября.

рателям, даже за пределами традиционного и довольно узкого электората СПС. Революционность проекта Чубайса именно как предвыборной программы и мощь заложенного в нем политического потенциала трудно переоценить. По сравнению с традиционной риторикой СПС и «Яблока» (ставшей общим местом и более или менее заимствованной почти всеми политическими силами) это такой же творческий шаг вперед, как если бы коммунисты или центристы выступили с программой экспедиции на Марс через четыре года — переводя защиту интересов ВПК из сферы рутинной гонки вооружений и перманентной зачистки Чечни в принципиально иную плоскость. Проект Анатолия Чубайса наверняка привлечет дополнительные голоса СПС и вынудит власть, отличающуюся идейным скудоумием, в большей степени прислушиваться к «правым».

Второй аспект процитированного текста кажется куда более проблематичным. Речь идет об исключительно внешнеполитическом обосновании российской «имперскости» и позиционировании гипотетической российской «третьей империи» исключительно как сверхдержавы на международной арене (благодаря неведомо как возросшему экономическому потенциалу). Как уже неоднократно отмечали критики Чубайса, ничего специфически «имперского» (кроме потенциального вмешательства в дела суверенных государств) этот сценарий от России не требует. Действительно, в своей программе Анатолий Чубайс подробно и аргументированно отстаивает необходимость либерального пути развития России, оставляя идею собственно «империи» самодостаточным и едва ли не избыточным риторическим приемом. Отчасти для того, чтобы прояснить этот отсутствующий компонент «имперскости», и организовала свое шоу Светлана Сорокина.

В передаче 10 октября приняло участие семь человек, во многом дублирующих друг друга функционально, но ключевыми участниками дискуссии стали трое: сам Чубайс, Григорий Явлинский и Никита Михалков. Историки и политологи, приглашенные в качестве экспертов, продемонстрировали полную неспособность предложить аудитории сколько-нибудь профессиональное видение проблемы империи и, по сути, оперировали теми же категориями обыденного сознания. Это обстоятельство не может не удручать: впервые со времен Третьего рейха предлагается искус-



ственное и целенаправленное «создание» империи, а голос экспертов-обществоведов не просто не слышен — он невнятен. Более того, империю не просто «создают» (по контрасту с Российской империей, которая сложилась как империя не то за 50, не то за 150 лет до формального провозглашения нового статуса, — и даже с СССР); империю хотят создать не верховные правители страны, а представители среднего эшелона политического класса. Автором идеи является профессиональный менеджер Анатолий Чубайс, принципиально не желающий присваивать себе роль собственника-олигарха, а его горячим сторонником — и во многом предтечей — Никита Михалков<sup>2</sup>, представляющий тип и династию «домодерных» топ-менеджеров (бояр Михалковых, верно служащих любым властям предрежащим: Романовым, Сталину, Путину...). Кажется, что невидимым участником обсуждения является и еще один убежденный менеджер (постмодернистского типа), «человек без паспорта» Глеб Павловский. Вот фрагмент его выступления трехлетней давности:

Россия сегодня вакантна как государство и как собственность. Она ждет собственника, управляющего, предпринимателя. В этом смысле вы пришли вовремя... Вы выступаете в игру, имея перед собой общество, парализованное революционной и контрреволюционной элитой. Сегодня имеется возможность заместить старую элиту; это удастся, если вы проявите способность порождать схемы действия и их реализовывать. Путин выстраивает рамочную стилистическую модель, открытую для разных форм действия. Он не революционер, но он предполагает, что на сцену выйдет другой и проявит себя в качестве нового суверена. Это и есть то поприще, которое сегодня открыто. Государство сегодня находится в идеальной для вас стартовой позиции. Оно не заинтересовано в сегодняшней системе собственности и господства. Оно поддержит тех, кто сумеет ее конструктивно нарушить. Сегодня мы можем правильно сконструировать Россию. Мы создаем новый суверенитет, который в двадцать первом веке будет известен как «российский»<sup>3</sup>.

2 Об имперском идеале Н. Михалкова — политическом и эстетическом — см. статью «Российская империя Никиты Михалкова» в настоящей книге.

3 Павловский Г. Тезисы выступления на Открытом объединенном семинаре Института корпоративного предпринимательства 5 сентября 2000 года ([http://old.russ.ru/ist\\_sovr/ckp/200011212.html](http://old.russ.ru/ist_sovr/ckp/200011212.html)).

Итак, три менеджера собрались при помощи собратьев-менеджеров сконструировать Россию как империю, в непринужденной обстановке, едва ли не за кружкой пива («в зеленом дворике» Фазиля Искандера). Сегуны не нашли императора и решили сотворить ее по своему образу и подобию, как либеральную среду упорядоченной конкуренции и самореализации, оптимизации ресурсов и максимизации прибыли. Как следует из выступлений сторонников проекта Чубайса, говоря об империи, они имеют в виду современных ведущих игроков глобального мирового порядка и мира-экономики: США, Японию, Европу — рай для менеджеров, место, куда уходят российские топ-менеджеры/олигархи после своей политической смерти на родине. Как видно из выступлений критиков проекта Чубайса, говоря об империи, они имеют в виду историческую Российскую империю и Советский Союз, причем осмысленные на уровне исторических и политологических моделей конца 1980-х годов. Таким образом, реальной дискуссии не произошло: обе стороны обращались к совершенно различным референтным системам и концептам, не пересекаясь в общем концептуальном пространстве. Впрочем, парадоксальным образом их объединяла реальная неспособность помыслить Россию действительно чем-то иным, нежели «национальным государством».

Так, для А. Чубайса действительно актуальной является идея *империализма* — творческой экспансии народа и национальной экономики, которую он столь ярко выразил во время передачи 10 октября: «Знаете, что такое империя вообще в моем понимании? Это в принципе не про экономику. Это дух народа, который направлен на то, чтобы была сила, власть и богатство. Вот что это такое. В целях своего народа и в целях своей страны»<sup>4</sup>.

Понятно, что «дух народа» может самовыражаться подобным образом и в рамках классического «национального государства» образца конца XIX века, в котором границы этнической общности, говорящей на одном языке и исповедующей общую конфессию, совпадают с государственными границами. Что касается Никиты Михалкова, то ему ближе великодержавное понимание империи *à la* Александр III или Сталин, обязательными

4 Цитируется по стенограмме передачи, опубликованной на веб-странице программы «Основной инстинкт» (в настоящее время недоступна).

атрибутами которого, помимо внешнеполитического влияния, являются наличие государя и опора на православный русский народ. Таким образом, новый имперский проект никак не противоречит попыткам представить («сконструировать») Россию как [моно]национальное государство.

Что касается критиков «империи менеджеров», то они как раз исходят из эмансипаторской парадигмы реализации прав наций на самоопределение и противопоставляют имперским проектам модель либерального/правового — но вновь *национального* — государства. Григорий Явлинский:

Я, например, думаю, что сегодня Россия строит не имперское государство, а совсем другое государство, в котором проживает суперэтнос, такой российский, в котором все люди и все граждане равны, национальности равны. Государство, в котором интернационализм, забыли и выбросили, а зря, был бы очень важен и нужен. Важнейшая задача России — интегрировать Кавказ. Это более важно нам сейчас, чем Молдову. Северный Кавказ в частности, который отламывается.

...Я считаю, что нужно предпринимать меры к тому, чтобы страна была единой, чтобы люди жили в своей стране, в такой, что государственной задачей России на весь ХХI век является сохранение нашей территории в нынешних границах. Вот у нас вызов главный<sup>5</sup>.

Что бы ни говорил Григорий Явлинский про интернационализм и равенство национальностей, а «суперэтнос» ко многому обязывает... Вероятно, лидер российских либералов пытался описать феномен «гражданской нации», сформированной не по этноконфессиональному принципу, а путем равного наделения всех членов сообщества гражданскими правами и возложением на всех одинаковых обязанностей. Однако более актуальным для него оказался холистский концепт «суперэтноса» принципиального антилиберала Л.Н. Гумилева (автора термина) и советских придворных этнографов брежневской эры...

Таким образом, и для сторонников, и для противников программы Чубайса «империя» является лишь метафорой экспансионистской политики, не обладая собственным объясняющим

<sup>5</sup> Там же; курсив мой.

потенциалом. В этом предельно растяжимом и довольно абстрактном понимании идея «либеральной империи» действительно является опасной. Мобилизуя и спланировав население страны, примиряя большой бизнес и власть в деле империостроительства, она в то же время дает власти карт-бланш на проведение агрессивной внешней политики, но также, вполне вероятно, и внутренней (как-никак, империя, хоть и «либеральная»!). При этом даже внешнеполитическая составляющая «имперскости», в том виде, как она сформулирована Чубайсом, ничем не отличается от программы и тактики таких «национальных империалистов», как председатель Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Рагозин, который, в принципе, мог бы подписаться под программой Чубайса (если бы не грядущие выборы). Опираясь на любимую лженауку российских политиков — геополитику, практикуемый сегодня в России «национальный империализм» противоречит элементарным принципам собственно *имперской* внешней политики. Примеряя роль Великобритании, карающей зарвавшуюся Аргентину в районе Фолклендских островов, современные российские политики, угрожающие Латвии или Грузии, забывают, что континентальная империя вынуждена общаться с остальным миром через территорию сопредельных государств-лимитрофов, а потому не может себе позволить вступать с ними в открытую конфронтацию. В этом смысле экономический империализм Чубайса является более «имперским» по духу, чем бряцание микрофоном думских политиков, но ведь именно они, в первую очередь, будут реализовывать его проект — так, как понимают его... В этом заключается трагедия менеджеров и «архитекторов» режимов и идеологий: не снимая с них ответственности авторов идеи, государственная власть реализует первоначальные проекты по своему разумению и в удобном для себя виде...

Интересно, что в развернувшейся дискуссии негативные политические коннотации понятия «империя» играют, как кажется, очень маленькую роль. Формула большевиков «Российская империя — тюрьма народов», критика империализма западными марксистами, а также ярлык «империя зла» времен холодной войны — все это создает, казалось бы, устойчиво негативный образ империи, связанный с проявлениями внутреннего деспотизма и внешней агрессивности. Однако даже такой противник концеп-

ции «либеральной империи», как Григорий Явлинский, возражая против принятия «империи» в качестве элемента политической программы, приводит аргументы скорее тактического характера. В своих многочисленных репликах по ходу программы он ни разу не сделал принципиально антиимперского заявления. В свою очередь, негативные коннотации концепта империи в политическом языке полностью остались без внимания в выступлениях А. Чубайса.

Этому обстоятельству можно дать несколько объяснений. Возможно, политическая логика А. Чубайса просто не содержит исторической перспективы (не случайно все приводимые им примеры взяты из современности и отсылают к логике глобализации и интерпретации современной геополитической ситуации американскими правыми типа Пола Вульфовица). Чубайс, как яркий представитель нового поколения менеджеров-технократов, воспитанных в позднесоветской атмосфере циничного отношения к любой идеологии, «вышел» из истории и представляет современную реальность как чистый лист белой бумаги, открытый для любой политической инженерии, вполне в духе постмодернистских теорий. С другой стороны, возможно, что публичное «обкалывание» концепции империи является всего лишь тестом на готовность российской элиты выйти из состояния «переходного периода» и переоценить свое отношение к сильной государственности и интервенционистской внешней политике. Перекодируя идею государственного могущества при помощи концепции либеральной империи, Анатолий Чубайс имеет шансы привлечь на свою сторону тех представителей российской элиты и рядовых избирателей, для кого либерализм и сильное государство были до недавнего времени понятиями несовместимыми<sup>6</sup>. В то же время

6 Несмотря на демонстративное игнорирование Чубайсом исторических параллелей, поражает сходство риторики его имперского проекта и программы «Великой России», которая была озвучена представителями правого крыла Конституционно-демократической партии (П.Б. Струве, С.А. Котляревский) и прогрессивными предпринимателями Москвы в начале XX века. Концепция «Великой России» была призвана излечить от традиционного интеллигентского радикализма по отношению к сильной государственности внутри страны и вне ее, ставя условием общественного компромисса приверженность политического руководства Российской

можно смело утверждать, что исторически сложившиеся негативные коннотации понятия империи скорее отпугнут элиту постсоветских государств от планов Чубайса. Даже в своем наиболее деидеологизированном виде *экономического* империализма проект либеральной империи вызовет мощную оппозицию за пределами России, подпитываемую современной западной постколониальной теорией, которая ориентируется на разоблачение экономического господства, формально не подрывающего национальный суверенитет<sup>7</sup>.

Вместе с тем проект «либеральной империи» Анатолия Чубайса нельзя рассматривать только как удачный предвыборный ход или опасный подарок государственной власти. Как бы мы ни понимали феномен «империи» и как бы ни относились к нему, очевидна непригодность модели национального государства в условиях современной России и необходимость поиска новой формы и идеологии государства. Чубайс пришел к своей идее как менеджер-экономист, увидевший ограниченность модели «нации-экономики» Ф. Листа и избыточность национальных рамок в глобальной экономике. Если бы Григорий Явлинский честно и последовательно попытался согласовать в рамках единой модели декларативные элементы своей общелиберальной программы, он бы увидел, что конструкция национального государства является неприемлемой и с точки зрения внутренней политики:

Если сегодня, как здесь прозвучало, Россия — это империя, то это значит, нам предстоит очень неприятный и сложный диалог с Татарстаном, Башкортостаном, с остальными нашими республиками. ...Я, например, думаю, что се-

империи либеральному, конституционному пути (ср.: *Струве П.Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм* / Сост. В.Н. Жукова, А.П. Полякова. М., 1997. С. 12–339). Структурный параллелизм двух ситуаций (попытка деловой элиты, интеллигенции и власти прийти к компромиссу) должен был бы заставить задуматься современных политических брокеров о причинах провала прошлого эксперимента, а историков более ответственно подойти к своей роли экспертов в области адаптации исторической категории к требованиям современной идеологии.

<sup>7</sup> См.: *Velychenko S. The Issue of Russian Colonialism in Ukrainian Thought. Dependency Identity and Development* // *Ab Imperio*. 2002. № 1. P. 323–367.

годня Россия строит не имперское государство, а совсем другое государство... в котором все люди и все граждане равны, национальности равны<sup>8</sup>.

Если это так, то каждая национальность должна иметь право на реализацию собственной территориальной государственности, так же как Татарстан, Башкортостан и др. Сдругой стороны, вряд ли призыв Явлинского слиться в некий единый «суперэтнос» вызовет менее озабоченную реакцию в том же Татарстане, повышенный энтузиазм у русских, татар и евреев. Пример Латвии и других лимитрофных государств показывает, как выглядит действительно последовательная реализация принципа национального государства в начале XXI века. Таким образом, невежество в отношении основных концепций и моделей не снимает остроту проблемы поиска адекватной модели государственности для новой России.

Тут мы вплотную подходим к проблеме роли экспертов в формировании теорий и моделей, из которых впоследствии топ-менеджеры создают «сценарии власти». Судя по выступлениям Анатолия Чубайса и его собеседников, они опирались (или могли опираться) только на довольно продуманные схемы экономистов — специалистов по современной транснациональной экономике, не сумев найти или игнорируя модели, разработанные историками и политологами. Понятно, что сегодня речь может идти об империи лишь в метафорическом смысле, однако это не значит, что можно игнорировать опыт реальной Российской империи/СССР как иерархической системы консолидации суверенитетов, экономических укладов, этноконфессиональных ареалов и субкультур. В отличие от представлений Никиты Михалкова («Я художник. Я артист — мое место в буфете. С утра выпил — весь день свободен. Что с меня взять?»<sup>9</sup>) империя — это не только и даже не столько государь-император на белом коне, крестный ход и мытье сапог в Индийском океане. Это почти утопический по определению проект сохранения местной самобытности в рамках единого полити-

<sup>8</sup> Цитируется по стенограмме передачи, опубликованной на веб-странице программы «Основной инстинкт» (в настоящее время недоступна).

<sup>9</sup> Там же.

ческого и экономического пространства. Вряд ли он может быть реализован на практике целиком, однако экспертам следует прояснить для себя — и доходчиво объяснить вдохновенным топ-менеджерам, упивающимся своим могуществом в узком кругу, — что империя предполагает прежде всего внутреннюю экспансию и ключевым вопросом является не «колонизовать или не колонизовать соседей», а что и на каких условиях предлагать гражданам, народам, культурам и экономикам России в обмен на поддержку государства и его экспансионистских планов вовне. Объяснив, что значит (исторически) имперский дискурс, имперские практики и имперское мышление, эксперты сформируют необходимые предпосылки для того, чтобы менеджеры от политики задумались: насколько *возможна* «либеральная империя» и как она должна быть устроена?



## Бремя вызубренных уроков: Егор Гайдар и деконструкция империи

Одним из итогов трансформации русистики в 1990-х годах (как собственно в России, так и за рубежом) стало почти полное исчезновение некогда весьма заметной и почтенной области исследований — экономической истории Российской империи и СССР. Резкое сокращение количества исследований по истории экономики осталось незамеченным на фоне бума дискурсивного анализа, истории национальностей, новой политической истории. За прошедшие полтора десятилетия полностью обновилась исследовательская программа бывшей «русистики», появилось принципиально новое видение царской России и СССР как предельно гетерогенных обществ, легшее в основу такого исследовательского направления, как Новая имперская история. Между тем имеющиеся в распоряжении историков старые работы по экономической истории говорят об «экономике России» и единой «финансовой системе», оперируют недифференцированными категориями «крестьянство», «капиталисты», «рынок»... В этой ситуации особенно многообещающим выглядело появление двух книг Егора Гайдара, напрямую посвященных экономической истории<sup>1</sup>. Действительно, кто, как не директор Института экономики переходного периода, может на уровне современной экономической теории предложить новое осмысление россий-

<sup>1</sup> Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: Очерки экономической истории. М.: Дело, 2005 (далее: ДВ); Он же. Гибель империи: Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2006 (далее: ГИ); ниже ссылки на эти книги приводятся непосредственно в тексте с указанием номера страницы.

ского экономического пространства — «переходного», «многоукладного», «развивающегося»? Новое понимание современных экономических процессов должно было бы обогатить наше представление об экономике прошлого. Гайдар выбрал диаметрально противоположный вектор: на основании обобщения данных экономической истории объяснить события последних двух десятилетий в России (прежде всего связанные с распадом СССР и началом экономических реформ в РФ). Теория исторического детерминизма (или ее более современное проявление — *path dependency approach*) столь же беспроницаема в смысле убедительности выводов, сколь и бессмысленна: понятно, что корни современности всегда можно отыскать в прошлом, но *post hoc non ergo propter hoc*, и новое невозможно механически экстраполировать из прошлого. Однако самым неожиданным образом книги Гайдара действительно позволяют очень многое понять в нашем недавнем прошлом и современности — правда, в несколько ином смысле, чем предполагал автор.

Егор Гайдар написал ученые книжки, со всеми атрибутами солидного исследования: многочисленными ссылками на научную литературу, обширными таблицами и графиками. Но и сами эти атрибуты, и даже полиграфическая культура изданий выдает простую экономическую истину: в современном обществе Левша не может сыграть никакую сколько-нибудь заметную экономическую роль, поэтому в обозримом будущем невозможен передовой компьютер или автомобиль *made in Russia* — самый блестящий замысел бесплоден вне стабильного саморегулирующегося производства, в котором «прошит» механизм постоянной инновации и самонастройки. Гениальный процессор будет перегреваться, а у автомобиля не будет закрываться дверца. Недостаточно блестящей идеи, необходима система, которая постоянно выявляет и учитывает дефекты, выдвигая новый стандарт качества взамен старого. В исторической науке, к которой решил приобщиться Е.Т. Гайдар, это называется историографическим процессом. Это означает, что ни один исследователь, даже самый гениальный, не может существовать в безвоздушном пространстве: для того чтобы его идеи оказались востребованы, он должен находиться в постоянном диалоге с предшествующей научной традицией и современными дебатами, говорить на языке профессии и предлагать

ответы на вопросы, именно сегодня интересующие его коллег. Прямой диалог с вечностью не столько наивен, сколько бесплоден: конечно, историки всегда в конечном итоге говорят о власти и свободе, насилии и солидарности. Но эти вечные темы возникают в результате разговора «по поводу», иногда кажущемуся слишком специальным и даже скучным, будь то алгоритм выкупных платежей крепостных крестьян или дебаты вокруг партийной программы. Разговор же о свободе «вообще» уместен в философском эссе, а в рамках исторического исследования просто компрометирует само обсуждаемое понятие, ибо история всегда уникальна и конкретна: если на армейских грузовиках насильно вывозят население с побережья за несколько часов до удара цунами, это нарушение свободы — или защита (свободного права на жизнь, материнство, детство)? Поэтому первым критерием формальной оценки труда Гайдара должна быть степень интегрированности в современную экономическую историю, умение вести диалог с этой дисциплиной и ее традицией, знание ее.

С этой точки зрения последние книги Гайдара служат лишним доказательством того, что у нас нет экономической истории (как и собственного конкурентоспособного автомобилестроения) — впрочем, как и современного научного книгоиздания<sup>2</sup>. Перед нами очередной феномен *à la Russe*, славный своей нестандартностью самородок, асоциальный и атемпоральный. Гайдар считает, что Адам Смит (1723–1790) является современным экспертом по экономике рабства<sup>3</sup>, называет Роджерса Брубейкера «У. Брубейкером» (ГИ 48), а Мирослава Хроха (Гроха — в традиционных русских переводах) «Крохом» (ГИ 42), ссылаясь на Макса Вебера в качестве авторитета по истории Древнего Египта (ДВ 149) и т.п. Эти формальные придирики являются на самом деле метками дилетантского подхода к предмету. Беда не в том, что Гайдара не примут за своего историки, говорящие на своем сленге

2 New York не пишется через дефис, а Boulder не является названием издательства — ляпы в солидных сносках книг Гайдара встречаются практически на каждой странице, при этом в книгах отсутствуют указатели и библиография.

3 Ср.: «До сих пор спорят, насколько распространение рабства задержало экономическое развитие и внедрение новых технологий. А. Смит считает очевидным...» (ДВ 209).

и распознающие чужака за версту по одной неверной цитате или неправильной транскрипции иностранной фамилии. Проблема в том, что Гайдар понятия не имеет, как формулируются сегодня проблемы, о которых он берется рассуждать, каков статус идей и гипотез, на которые он ссылается. Хорошо это или плохо, но Адам Смит присутствует в современном историческом научном дискурсе не напрямую, как первоисточник эмпирических материалов или актуальный теоретик, а в «снятом» виде, как основатель некой интеллектуальной традиции, которая за два с лишним столетия вобрала в себя еще много других имен. Современные же исследователи совершенно иначе ставят вопросы и — что еще более важно — иначе идентифицируют научные проблемы.

Объемный труд Егора Гайдара производит впечатление неадекватности именно потому, что он не способен определить актуальные цели и задачи исследования. Совершенно в духе тех партизан из анекдота, что продолжают пускать составы под откос спустя полвека после окончания войны, главным объектом научной атаки Гайдара становится нечто, давно уже не существующее: марксистская теория в формате истмата, сформированного советским обществоведением в раннесталинский период. Он посвящает целую главу из шести параграфов разоблачению марксизма (ДВ 47–80), но и далее периодически не упускает возможности вступить в полемику с враждебной теорией<sup>4</sup>. Бунт против марксизма был естественным и даже неизбежным этапом эмансипации отечественного обществоведения в конце 1980-х годов, но и эта война уже давно закончилась. Закончилась потому, что истмат не является сколько-нибудь влиятельной и актуальной научной парадигмой, заслуживающей критики, но также и потому, что разоблачение марксизма в истории или экономике сравнимо с разоблачением Эмиля Дюркгейма в обзорной работе по социологии или с яростной критикой Гегеля в курсе истории философии. Марксизм — неотъемлемая часть современного обществоведения, как проза была имманентной характеристикой речи господина Журдена, независимо от его желания. К сожалению, в случае научной

4 «В просто устроенном мире К. Маркса...», «В. Ленин был прав...», «По Ф. Энгельсу, возникновению государства непременно предшествует расслоение общества...» и так без конца (ДВ 81, 85, 139).

речи Гайдара марксизм присутствует не только в форме структурного анализа и основных экономических концептов, но и в архетипической истматовской картине исторического процесса и даже его периодизации, поэтому его яростные антимарксистские инвективы есть не что иное, как «борьба борьбы с борьбой».

Зато Гайдар совершенно нечувствителен к проблемным зонам, наиболее актуальным для современного обществоведения, — следствие «эффекта самородка», ориентированного на добывание «абсолютного знания» и игнорирующего текущее состояние коллективного научного процесса. Наиболее фундаментальной проблемой для любого исследователя прошлого является описание «хронотопа» — уникального момента в определенных пространственных рамках. Для человека, предполагающего вывести мораль из событий прошлого и рекомендации для современности, важно использовать сопоставимые единицы временного ряда. Егор Гайдар так и поступает, не задумываясь оперируя такими понятиями, как «Европа», «Западная Европа», «Индия». Автор, которого он, в принципе, упоминает, Иммануил Валлерстайн, задал в одной из своих работ сакраментальный вопрос: «Does India Exist?» («Существует ли Индия?»)<sup>5</sup> Гайдар отвечает на него положительно только потому, что не подозревает об остроте этой проблемы. Когда он пишет, что «европейские институты и установления со времен античности обладают чертами, которые отличают их...» (ДВ 112), остается неясным, что он имеет в виду: олигархический режим Спарты? Рабство? Германцы за Рейном не были частью античности, а что являлось «Европой» в VIII веке? А в XVIII (уж точно не Великобритания)? Когда Гайдар пишет, что, «хотя после краха Римской империи Западная Европа не стала единым государством, многие аспекты культуры... сближали западноевропейские народы» (ДВ 91), он в счастливом неведении удревляет концепт «Западная Европа» на полтора тысячелетия, создавая совершенно произвольно очерченный и фантастический исторический регион. И, конечно же, «Индия» (Иран, Китай и пр.) представляется автору единым политическим организмом, в границах современного нам госу-

<sup>5</sup> Wallerstein I. Does India Exist? // Wallerstein I. Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms. Cambridge, 1995. P. 131–134.

дарства — представление, которое в критике Валлерстайна и последующей колоссальной литературе об историческом пространственном воображении фигурирует скорее как риторическое обобщение разных методологических заблуждений.

Точно так же Гайдар верит (вернее, не знает, что существует альтернативная — доминирующая — точка зрения), что существует «ислам» как единый феномен с фиксированным набором свойств. В частности, «ислам в большей степени, чем любая другая мировая религия, совмещает веру и право, санкционирует и детально регламентирует нормы семейных, общественных и экономических отношений» (ДВ 117). Казалось бы, как экономист, знакомый хотя бы с современным общественным устройством, Гайдар должен знать, что роль ислама в Сингапуре и Афганистане очень разная. Впрочем, как и то, что некогда включенная в сферу античного мира Албания — такая же «европейская» страна, как и Швеция, к античному миру никогда не принадлежавшая. Без этого знания используемые им генерализации не имеют никакого самостоятельного объясняющего потенциала. Эти детали, в которых, по одной поговорке, скрывается дьявол, а по другой — Бог, избыточны для здорового позитивистского научного дискурса, присущего Гайдари. Но тогда крайне странно выглядит его увлечение теорией цивилизаций, пронизывающее все исследование:

Историки спорят о том, сколько цивилизаций... можно вычленить сегодня... чаще всего в последние годы специалисты говорят о китайской цивилизации... об индуистской, исламской, православной, западной, латиноамериканской и африканской (см., например: *Huntington S.P. The Clash of Civilizations...*) (ДВ 111).

Вероятно, экономист не обязан знать о том, что историки — как профессиональная корпорация и участники научной дискуссии — ничем таким не занимаются. Но удивительно, что человека со строгим логическим мышлением не насторожил абсолютно фантастический способ вычленения «цивилизаций»:

...животные делятся на а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие,

к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух<sup>6</sup>.

Вычленение стабильных пространственных констант необходимо Гайдару для беспроblemного сопоставления исторических и экономических факторов в разных эпохах, и эта же логика приводит его к фактическому игнорированию второго элемента хронотопа: времени. Время как непрерывный поток меняющихся обстоятельств отсутствует в картине мира Егора Гайдара. Безусловно, основная часть двух анализируемых книг посвящена скрупулезному (а порой и не очень) отслеживанию накопления количественных изменений, но момент перехода «количества в качество» остается для автора тайной — во всяком случае, он предпочитает не замечать его. «Большое время» делится для Гайдара, в пределе, на два внутренне гомогенных отрезка: эпоху «аграрного общества» и модерный капиталистический период. Египет и Рим, Ниневия и Московия, государство Майя и Бургундия слипаются в единый клубок застойного, несправедливого, неэффективного, нерационального, не нашего времени («тысячелетия статичного состояния общества»).

Под аграрным обществом принято понимать тип социальной организации, сформировавшейся после неолитической революции... Такое общество доминировало в мире на протяжении тысячелетий. Оно просуществовало в мире до XIX в., начала современного экономического роста.

<...> Характерная черта аграрного общества — долгосрочная устойчивость способов организации производства, расселения, занятости. Верность традициям, следование примеру отцов и дедов... В аграрном обществе монархия, опирающаяся на многовековую традицию, с понятным порядком престолонаследия — естественная политическая организация (ГИ 61).

Вдруг, *deus ex machina*, в XVIII веке медленно вызревшие в недрах некоторых аграрных обществ «европейские» традиции одерживают верх, начинается победоносное шествие по миру совершенно иная модель общественного устройства.

6 Борхес Х.Л. Аналитический язык Джона Уилкинса // Борхес Х.Л. Проза разных лет. М., 1989. С. 218.

Фактографический анализ построений Гайдара является совершенно неблагодарной задачей: в конце концов, никто в здравом уме не доверит профессиональному историку управление паевым фондом и не удивится, если филолог неудачно проведет операцию на мозге. И уж точно нет смысла потом зачитывать в назидание бедным гуманитариям учебники по медицине или менеджменту! Важно другое: человек, который был не только свидетелем драматической исторической ломки, но и возглавлял этот процесс на протяжении некоторого времени, был в самой гуще событий, начисто лишен ощущения темпоральности (хотя следует отдать должное историческому оптимизму Гайдара, считающего нормой и константой опыт последних двух-трех столетий и пренебрегающего историческим опытом многих тысячелетий). Удивительная статичность мышления Гайдара проявляется даже на уровне синтаксиса: автор книг об исторических переменах старается свести до минимума употребление глаголов, он может написать целый абзац безглагольными предложениями:

У власти относительно мягкий авторитарный коммунистический режим с необычной конструкцией. Сербы — самый многочисленный этнос в стране. Столица страны там же, где и столица Сербии. Отсюда неизбежное доминирование сербов в органах власти, в армии. При этом на протяжении десятилетий глава страны — хорват, понимающий необходимость борьбы с сербским национализмом для сохранения стабильности в полиэтнической стране (ГИ 50).

Кто субъект исторического процесса, какие силы привели к этой ситуации — неизвестно. Очевидно, безличные объективные законы истории. Этот механицизм мышления ярче всего проявляется в выявлении всевозможных циклов и закономерностей:

Параллели между Россией и Веймарской республикой проводят часто... Но не все понимают, насколько они значимы. Мало кто помнит, что имперская государственная символика была восстановлена в Германии через 8 лет после краха империи... в России — через 9 лет (ГИ 15).

...Россию от стран — лидеров современного экономического роста... на протяжении последних полутора веков отделяет дистанция примерно в полвека, два поколения (ГИ 26).



С этим же связан бесконечный поток статистики, подчас корректной, подчас представляющей собой всего лишь ретроспективные и крайне приблизительные исчисления. Цифровые ряды замещают временную динамику, формальный показатель — влияние исторических факторов и акторов. Вне контекстуализированной интерпретации цифры остаются пустым знаком, не более осмысленным, чем «средняя температура по больнице»<sup>7</sup>.

Большая часть двух последних книг Егора Гайдара, касающаяся исторических сюжетов, представляет собой типичную фоменковщину. Различия поэтики или, скорее, авторского темперамента вторичны: Гайдар не выступает с революционным пересмотром устоявшихся исторических представлений, напротив, претендует на академизм своих штудий. Тем не менее перед нами феномен того же порядка: попытка человека с четким техническим мышлением упорядочить массив разнородного эмпирического материала с единственной целью обосновать некий изначально отстаиваемый тезис. Эта интеллектуальная традиция была заложена в публикациях 1960–1980-х годов на страницах научно-популярных журналов «Наука и жизнь» и «Знание — сила», привлекавших широкие слои советских интеллигентов-технарей. Окостенение профессиональной историографии в СССР вытеснило слабый ручеек свободного научного поиска и дискуссии в маргинальную зону естественно-научных популяризаторских журналов, которые публиковали статьи об НЛО и снежном человеке вперемежку с материалами, пересматривающими устоявшиеся истины о хазарах или Наполеоне<sup>8</sup>. Фоменко и К° продолжили тради-

7 Впрочем, как и в случае с Индией, Гайдар не смог пройти и мимо этого хрестоматийного анекдота, поместив в книге график «Изменение средней температуры проживания человека в XX в.» (ДВ 374). Речь не идет о флуктуации общеизвестной 36,6, а о среднегодовой температуре ареала проживания среднего гражданина страны — также довольно безумным индикаторе, но, по крайней мере, зависящем еще от одной переменной — климатических условий и возможности маневра человеческими ресурсами в условиях страны с широким диапазоном климатических зон.

8 Лишь пара примеров публикаций наиболее известных авторов: Гумилев Л.Н. Климат и история // Знание — сила. 1968. № 4. С. 28–29; Рыбаков Б.А. Кто же автор «Слова о полку Игореве»? // Наука и жизнь. 1972. № 10. С. 51–57.

цию ревизионизма ортодоксальной историографии при помощи калькулятора и энциклопедического словаря, в целом этим же методом руководствуется и Гайдар, убежденный в том, что «история» — всего лишь набор «фактов» и для усидчивого человека не составит проблемы написать хорошее историческое исследование. Но, в отличие от советского инженера, у Гайдара вряд ли есть избыток свободного от службы времени, которое можно посвятить любительской историографии. Ради чего же он написал свой двухтомный *opus magnum*?

Автор не скрывает своей целевой аудитории — это «те, кто работает или рано либо поздно будет работать в органах власти» (ДВ 14). Также очевидна и цель, формулируемая с поистине параноидальным упорством раз за разом: доказать, что предъявляемые ему обвинения в развале Советского Союза беспочвенны, что СССР был обречен на крах всем ходом всемирной истории, со времен неолитической революции. Нужно сказать, что эта цель не очень соответствует средствам: те люди во власти и среди широкой публики, кто верит, что Советский Союз рухнул в результате личного вредительства Е.Т. Гайдара, вряд ли способны осилить почти 1100 страниц ученого текста двух книг. Те же, кто способен оценить написанное, вряд ли подозревают Гайдара в заговорщицкой деятельности. Но если с личным алиби у Егора Гайдара все в порядке, написанный исторический труд совершенно неожиданно выдает его с другой стороны. То, что Гайдар оказался никудышным историком, не беда: и без него в стране существует огромное количество отвратительных профессиональных историков. Проблема в том, что Гайдар, которого и поклонники, и политические противники считают наиболее выдающимся российским экономистом нашего времени, на 1100 страницах расписался в своей ограниченности аналитика-экономиста. Его выдало именно иррациональное раздражение против империи, которое по интенсивности затмевает критику авторитаризма, социализма, милитаризма. Спору нет, империя не является особо привлекательным историческим феноменом, но это всего лишь форма, которой, кстати сказать, Гайдар не потрудился найти сколько-нибудь комплексного определения. Британская империя была парламентской, Третий рейх — тоталитарным, Вторая империя во Франции — рыночной, государство Чингисхана — кочевым. Что именно вызывает отторжение у Гайдара? Кроме

империи, история знает форму национального государства (например, эпохи апартеида в ЮАР), феодальной политики (например, Московию) или потестарного племенного вожества. Какой из этих образцов Гайдар, как ревнитель формальной стороны организации государства, предлагает для современной России?

С удивительным упорством Гайдар называет «империей» все негативные исторические феномены, подчас прямо противоположные по сути. Заявляя, что «характерная черта империй — отсутствие [всеобщего] избирательного права» (ГИ 28), Гайдар фактически зачисляет в империи вообще все политические образования земного шара до начала XX века. С другой стороны, в СССР, априорно классифицируемом Гайдаром как империя (ГИ 12), всеобщее избирательное право существовало, а дискуссия о том, насколько эффективной была реализация этого права в СССР (или в США), является отдельной проблемой. Для чего нужно вообще вспоминать об империи, если это понятие используется как простой синоним системы политического неравенства? Егор Гайдар не сформулировал четко своей «теории империи», но эмпирически понятно, что он имел в виду. «Империя» противостоит «норме» современного, рационального, гомогенного, демократического общества, во всех уголках которого — и на всех уровнях социальной иерархии — одинаково действуют одни и те же экономические и политические закономерности. В этом обществе торжествует принцип «один человек — один голос», а также действуют общепонятные уравнения: социальный статус  $x$  = экономический достаток  $y$  = культурный горизонт  $z$ . В России же, как всегда, эти переменные складываются в неприличную трехбуквенную формулу. Ибо истопник котельной может оказаться гениальным писателем, губернатор — троечником, а выдающийся ученый может получать нищенскую зарплату. Более того, специалисты идентичной квалификации, но разной этнической принадлежности имеют совершенно разные карьерные шансы в разных частях страны. Одна и та же деятельность приносит совершенно разный доход в столице и провинции, в городе и деревне. В разных частях страны действует разная валюта — как буквально, так и в смысле совершенно различной покупательной способности одной и той же денежной единицы. Именно это иррациональное устройство и выводит из себя обычно столь уравновешенного интеллектуально Е.Т. Гайдара.

Но возмущающий его (бес)порядок сложился не в 1991 году: в исторической Российской империи общество было предельно гетерогенным, представляя собой не только конгломерат территорий и народов, но и экономик и укладов жизни. Причем переплетение экономических и «неэкономических» факторов являлось таким же неотъемлемым свойством этой системы, как и инвариантность сословного статуса, конфессиональной принадлежности, экономического положения и этничности. История парадоксальной экономической рациональности имперского пространства еще не написана. Будущий историк имперской экономики должен профессионально прокомментировать гипотезу Джона ЛеДонна о том, что польские магнаты в конце XVIII века настолько зависели от российского рынка сбыта пшеницы (точнее — от потребностей российской армии), что это оказалось существенным фактором в разделах Польши и даже в начале Кавказских войн<sup>9</sup>. Никто до сих пор не сумел убедительно оспорить или подтвердить давний тезис Петра Струве об экономической эффективности крепостного сельского хозяйства<sup>10</sup>. Дискуссия о «цене империи» находится в самом зачаточном состоянии<sup>11</sup>. Перечислять актуальные исследовательские проблемы экономической истории Российской империи можно долго, но Е.Т. Гайдар проблем не видит. По его мнению, аграрный кризис преодолевается при помощи принципа майората при наследовании имущества, а специфика индустриализации в России сводится к государственной интервенции (ГИ 148). Не больше сложностей доставляет ему и социалистическая система. Вероятно, не нужно быть директором Института экономики переходного периода, чтобы таким образом описывать специфику экономики социализма:

9 *LeDonne J. The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650–1831.* Oxford, 2004; а также: *LeDonne J. Geopolitics, Logistics, and Grain: Russia's Ambitions in the Black Sea Basin, 1737–1834* // *International History Review.* 2006. Vol. 28. № 1. P. 1–41.

10 *Струве П.Б. Крепостное хозяйство.* СПб., 1913.

11 Тема заявлена в работах Е.А. Правиловой: 1) «Цена» империи: центр и окраины в российском бюджете XIX — начала XX в. // *Ab Imperio.* 2002. № 4. С. 115–144; 2) Финансы империи: деньги и власть в политике России на национальных окраинах, 1801–1917. М., 2006.

Социализм — это, как давно доказано, экономика дефицита. Объяснить, как он работает, тем, кто с ней не сталкивался, трудно... как для семьи важно иметь знакомого продавца... (ГИ 146)

У Гайдара нет сколько-нибудь внятной аналитической модели социалистической экономики как феномена *sui generis* (а не болезненной девиации от нормы), он не может выйти за рамки переживаний обыденного опыта. Между тем социалистическая система не была лишь плодом фантазии фанатических революционеров и решала определенные проблемы в определенных обстоятельствах. До конца 60-х годов тупиковость советской системы была далеко не очевидна многим крупным обществоведам на Западе, отнюдь не симпатизировавшим коммунистической идеологии. Понятно, что советский социализм оказался неспособным воспроизвести модель динамичного общества массового потребления, но насколько эффективно эта модель — по сравнению с другими возможными сценариями социально-экономического развития — решала задачу, поставленную политическим режимом и поддерживающуюся частью общества в 1920–1930-х годах: произвести структурную перестройку экономики и обеспечить высокую степень мобилизации ресурсов без потери внешнеполитической независимости? Речь в данном случае идет не о том, благая ли это была задача, а о том, насколько «рационален» был выбранный путь ее решения. Представляя социалистический режим одним большим театром абсурда, Гайдар не видит собственно исследовательских проблем в истории советского периода и не считает заслуживающими внимания работы своих предшественников, например изощренные теории функционирования неденежной экономики, разрабатывавшиеся С. Струмилиным или А. Чаяновым. Социализм канул в прошлое, а методики оценки трудовых ресурсов вне рыночной «стоимости» — нет. Современные гендерные исследования применяют эти методики для того, чтобы выяснить и оценить колоссальный вклад «непроизводительных групп населения» — домохозяйек, бабушек, нянчащих внуков, — в реальный рост экономики<sup>12</sup>. Для Гайдара же совершенно легитимный

<sup>12</sup> См.: Waring M. If Women Counted: A new Feminist Economics. San Francisco, 1990; Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics / Ed.

и актуальный с точки зрения историографии вопрос о механизмах функционирования социалистической экономики как режима перераспределения власти и капитала (в том числе символического) в обществе просто не стоит.

Казалось бы, опыт радикальной экономической трансформации и реальной многоукладности российской экономики 1990-х годов должен был послужить для него ключом к пониманию истории России, высветив научные проблемы, прежде игнорировавшиеся историками. То, что Гайдар воспринял экономическую историю России как морализаторскую притчу, а не как исследовательскую проблему, говорит не о том, что он плохой историк, а о том, что он поверхностный экономист. И то, что он не увидел проблем в далеком прошлом России, свидетельствует о наличии у него определенных «слепых зон» в оценке современных условий. Так, например, становятся понятнее истоки приписываемой Гайдару легендарной фразы о том, что в результате реформ старики как обуза экономики вымрут. Егор Гайдар не производит впечатления бездушного робота, он заботливый отец, наверняка у него есть родственники преклонного возраста. Но в той экономической модели, которую он рассматривает как единственную норму, нет такой проблемы — «старика». Предполагается, что в развитом капиталистическом об-

by M.A. Ferber, J.A. Nelson. Chicago, 1993; *Samarasinghe V.* Counting Women's Work: The Intersection of Time and Space // *Thresholds in Feminist Geography: Difference, Methodology, Representation* / Ed. by J.P. Jones III, H.J. Nast, S.M. Roberts. Lanham, MD, 1997. P. 129–144; *Dasgupta I.* Women's Employment, Intra-Household Bargaining, and Distribution: A Two-Sector Analysis // *Oxford Economic Papers*. 2000. Vol. 52. № 4. P. 723–744. Пример учета роли «неформального» (некапиталистического) сектора экономики в развитых капиталистических странах: *Castells M., Portes A.* World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy // *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries* / Ed. by A. Portes, M. Castells, L.A. Benton. Baltimore, 1989. P. 11–40; *Sassen S.* The Informal Economy // *Dual City: Restructuring New York* / Ed. by J.H. Mollenkopf, M. Castells. N.Y., 1991. P. 79–102; *Williams C.C., Windebank J.* Social and Spatial Inequalities in the Informal Economy: Some Evidence from the European Community // *AREA*. 1993. Vol. 25. № 4. P. 358–364; *Williams C.C., Windebank J.* Informal Employment in the Advanced Economies: Implications for Work and Welfare. London, 2004.

щество люди производят значительные выплаты в пенсионные фонды и отчисления на приобретение пакетов ценных бумаг в течение трудового периода, чтобы в старости сочетать личные накопления с социальным пособием. Нет для Гайдара — и многих его единомышленников — и проблемы социальных «льготников». Их убеждение в том, что «на Западе» льготников не бывает, основано на весьма неполном знании, но, действительно, масштабы этой категории населения в России несравнимы с масштабом системы льгот (в том числе и «натуральных», не денежных) в Западной Европе и США. Если же нормативная теория Гайдара не описывает феномен нищенствующих стариков и бедствующих льготников — их для него нет или им быть не полагается. Но статистически и физически они есть — и как им не быть, ведь российскому капитализму всего полтора десятка лет, и даже в эти годы не было той стабильности в экономике, которая позволила бы произвести накопления! Однако эмпирическая реальность не может поставить под сомнение теоретические представления ученого. Лично Гайдар, скорее всего, никого никогда не хотел вычеркнуть из жизни — но его теория вычеркивает «иррациональные» феномены, отказывая им в праве на существование. Отсутствие интереса к проблемам экономики социализма — дело личного выбора; непонимание того, как натуральное общинное крестьянское хозяйство, социалистическое производство или нянчащая внука пенсионерка участвуют в производстве ВВП, — свидетельство неполного профессионального соответствия.

Точно так же понятно, в чем причина крайне эмоциональных обвинений Егора Гайдара в непатриотизме. В отличие от своих обличителей, которые никому не нужны за пределами России и даже за рамками узкой и слякотной стези «профессионального патриотизма», Гайдар может успешно самореализоваться в любой стране мира и даже обеспечить себе более высокий экономический статус. Сознательно выбирая жизнь и работу в России, он тем самым демонстрирует патриотизм как акт личного свободного выбора, а не как последнее прибежище ущербного субъекта. Но в своем научном анализе, отвергающем эмпирическую реальность ради неуклюже заимствованной теории, Гайдар занимает высокомерную позицию по отношению к объекту

своего исследования. Если он не соответствует нормативной модели — тем хуже для объекта. Конечно, не Гайдар развалил СССР; но, подобно хирургам времен Крымской войны, его научный подход знает лишь один способ врачевания ран: ампутацию. Все, что не вмещается в прокрустово ложе довольно наивной утрированно-либеральной нормативной схемы Гайдара, — «ампутируется», выносится за скобки, становится фигурой умолчания, не анализируется. Там нет места субэкономике работяг, оказывающих простые услуги населению «за бутылку»; нет места «непроизводительным» работникам «домашнего фронта»; нет места нересформированному сектору сельского хозяйства, но нет места и регионам, не вписывающимся в жесткую структуру идеальной нации-государства. Гайдар не «разваливал» СССР, но его анализ не допускает существования «иррациональных» гетерогенных и симбиотических социально-экономических пространств, а потому настоятельно требует их деконструкции — не в смысле вскрытия внутренних механизмов, а в смысле механического разрушения, чтобы более ладно подогнать «остаток» под лекала нормативной теории.

Эта теория, в жертву которой приносится реальность, довольно проста — в части своих социально-политических оснований. Она имеет такое же отношение к реальному «Западу», как штатнические представления поколения Василия Аксенова о стране длинных машин и рок-н-ролла — к реальной Америке. Исповедуемую Гайдаром доктрину невозможно однозначно соотносить с конкретным политическим проектом в Северной Америке или Западной Европе. Гайдар кажется наивным в своем методологическом рыночном экстремизме и удивительно архаичным в упорном игнорировании сферы политического как неотъемлемого компонента экономики. Многократные заявления Гайдара о том, что он рассматривал свою роль в правительстве (и после) как роль технического эксперта, имеют под собой глубокую теоретическую основу: судя по его историческим штудиям, он действительно не видит, каким образом политическая система оказывается интегрированной частью экономики (помимо злополучного «административного ресурса»), и не умеет включить в свой анализ проблему взаимной конвертации символического, политического и финансового капиталов. Непримиримый



борец с марксизмом, певец «чистой» рыночной экономики, существующей с государством в параллельных мирах, Егор Гайдар — типичный носитель «западничества», выученного комсомольцами-аспирантами заочно, по отрывочным публикациям в начале 80-х годов. Представители этой когорты — такие разные, как Е. Гайдар, А. Чубайс, А. Илларионов, — во многом ответственны за то, что идеалы западного общества в постсоветской России оказались скомпрометированы. Олицетворяя собой определенную социальную программу и ценности, они оставались верными идеализированному образу нормативной реальности, запечатленному в их сознании с юношеских времен, и с пренебрежением относились к «исходному материалу», который надлежало реформировать. Они натолкнулись на политическую оппозицию, во много раз превышавшую их силы, но главный урон либеральной идее в России нанесли они сами — тем, что не могли или не хотели корректировать абстрактную модель в соответствии с местной спецификой в сфере политики и не умели анализировать ситуацию вне своей нормативной научной схемы в сфере исследовательской.

Империя в России — это не только и не столько двуглавый орел и мытье сапог в Индийском океане, сколько попытка сохранить неустойчивое равновесие и баланс социальных групп и интересов в крайне разношерстном обществе. С точки зрения реальной политики, возможно, и нет необходимости в том, чтобы в одних политических границах существовали малые народы Севера и республики Кавказа, центральноазиатские и прибалтийские регионы. Однако исследователь, изучающий такую сложносоставную политику, реально существовавшую в прошлом или существующую в настоящем, не может игнорировать ее реальность лишь на том основании, что его аналитический инструментарий не позволяет помыслить это единство иначе как иррациональную химеру. «Деконструкция империи», предпринятая Егором Гайдаром, не выполнила исследовательскую задачу комплексной аналитической интерпретации имперского (экономического) прошлого. Вместо этого Гайдар взялся за сугубо политическую задачу, приличествующую национально-освободительным движениям, но никак не академическому ученому, претендующему на роль ментора политической элиты пока еще территориаль-

но целостной страны. Если на следующем витке истории Россия претерпит очередное «усечение», ответственными за это будут не только бездарные политики, но и интеллектуальная элита, непрофессиональная по характеру организации научного процесса, оперирующая гибридными аналитическими моделями, где архаичский язык обществоведения нации-государства *à la* начало XX века причудливо переплетается с новейшими теориями пост-индустриальной эпохи глобализации.

## «Правда русского тела» и сладостное насилие воображаемого сообщества

Там русский дух... там Русью пахнет!  
Александр Пушкин. «Руслан и Людмила»

...утром пахнет хуже, чем вечером.  
Это — *правда* его тела, и от нее никуда не денешься.  
Владимир Сорокин. «День опричника»

Книга «День опричника» Владимира Сорокина интересна тем, что это настоящее художественное произведение. Это значит, в частности, что текст книги не равен самому себе и замыслу своего создателя. Об этом свидетельствует, например, то, что вскоре после выхода книги Сорокин поспешил выпустить «Сахарный кремль» — не «сиквел» и не «приквел» к успешному литературному продукту, а скорее попытку прокомментировать, дообъяснить, доразвить и вообще взять под контроль смыслы и чувства художественного текста. Следуя традиции русской литературы, «День опричника» вскрывает переплетение личной жизни и общественного устройства, вписывая их в глобальный контекст Истории. (Некоторые скажут, что лирический слой повествования служит лишь прикрытием для социально-политического дискурса, но и это вполне характерно для русской литературной традиции.)

«Ars gratis artis», ставший девизом литературы периода политической демобилизации последнего десятилетия, отразился и на культуре чтения и критики, которая, как кажется, утратила традиционные навыки восприятия традиционной русской литературы. От писателя ждут *отражения* реальности — пусть даже из-

вращенной, «параллельной», «виртуальной» и вовсе «сюрреалистической», в то время как ничуть не более наивный троп критического реализма — «литература есть исследование жизни» — ныне не популярен. Это заметно по реакции на книгу Сорокина: мнения разделились по поводу того, клеветнически или правдиво изображено вероятное будущее России, уместна или избыточна сатира автора на путинский режим, справедливо или злокозненно изображена в книге суть русского национализма и православия. Оптимистический релятивизм читателей, морально подготовленных к тому, что в литературной и политической реальности возможно все, что угодно, делает неуместными вопросы «почему», «что это значит», «в каком смысле». Все готовы к сакраментальному ответу автора — «я так вижу». Но как быть, если автор и сам не вполне осознает, что же в конце концов вышло из-под его пера, сложилось в самостоятельную структуру смыслов и значений, называющуюся художественным текстом?

Владимир Сорокин помыслил мир, где почти бескомпромиссно восторжествовала «русскость» — не стесненная резолюциями Совета Европы, давлением политического руководства национальных республик или стихийной самоцензурой интеллигенции. Выходя за пределы самых смелых мечтаний большинства националистов, Сорокин рисует период *после* торжества «патриотической идеи», когда русскость является позитивной и конструктивной реальностью, не структурируемой больше негативно, то есть по контрасту и через отторжение всего «нерусского» и «непатриотического». Именно последовательное воплощение «русской идеи» в «русское национальное тело» является главным сюжетом книги Сорокина и предметом его анализа, проведенного художественными средствами. Именно этот глубинный пласт текста вызывает чувство тревоги и даже ужаса у внимательных читателей, а не лежащие на поверхности и в общем — в контексте опыта XX века — довольно обыденные чекистско-опричные зверства<sup>1</sup>. Предсказуемая, знакомая жесткость и несправедливость все-

<sup>1</sup> Ср. рецензию Алины Витухновской, которая указывает именно на непосредственные политические реалии: Страшная книга: Рецензия на книгу Владимира Сорокина «День опричника» // Назлобу. 2007. 4 мая (<http://www.nazlobu.ru/publications/article1693.htm>).

го лишь отвратительны; страшит же людей приближение к неведомому и непознанному.

«Телесность» художественного мышления Владимира Сорокина, создавшая ему в определенных кругах репутацию «порнографа», оказалась как нельзя кстати в разговоре о воплощенной русскости, коль скоро «эрос национального», вдохновлявший воображение идеологов русского национализма последних полутора столетий, в книге наконец обрел воплощение в материальном, массовом, органическом «национальном теле». Как известно из писаний родоначальников русского национализма, «жизнь тела» весьма отличается от возвышенной «духовной жизни». Как же материализуется «русская идея» в национальное тело в художественном пространстве «Дня опричника», каков рецепт воплощения «воображаемого сообщества» в функционирующее общество?

Прежде всего, национальное тело вычленяется из социального пространства как гомогенное и эндогамное сообщество. Внешняя граница проводится при помощи Великой Русской стены (включающей Западную и Южную стены), а внутренняя — при помощи политической и этноконфессиональной селекции. О систематической политике этнических чисток в книге не упоминается — очевидно, чистота этнической русскости достигается за счет нормативного ограничения ее по крови и вере с фактической реабилитации сословно-правовой категории «инородец». В этом качестве право на существование и представительство в обществе получают и татары, и евреи, коль скоро исчезают причины для главной фобии русских националистов: стихийного этнокультурного смешения, размывания чистоты национального тела за счет внедрения замаскированных чужаков. Политическая однородность поддерживается при помощи чисток, но речь также не идет о массовых репрессиях, скорее о регулярной избирательной саниции немногочисленных отщепенцев-диссидентов.

Этот сценарий многим может показаться неприятным и неприемлемым, но никак не неожиданным (тем более — необычным). Тревожный толчок в сердце вызывает мысль невысказанная, но подразумеваемая — вернее, ответ на незаданный вопрос: вероятно ли, чтобы насквозь пропитанное западными идеями и ценностями общество всего за два десятилетия превратилось в ожившую картину Сурикова или Васнецова? Потому что ответ

этот из середины (а теперь уже из конца) нулевых годов политической демобилизации в России видится довольно ясно: да. Главный смысл внутренней хронологии книги Сорокина (называние дат и упоминание количества лет, прошедших со дня того или иного события) заключается в том, что на основании нехитрых расчетов можно заключить: скорее всего, главный герой, опричник А.Д. Комяга, родился в 1991 году. Уже сегодня, на наших глазах, происходит крах некогда популярного оптимистического тропа: поколение россиян, родившееся после падения коммунизма, не познавшее давления советской власти, будет самым свободным, гарантией стабильности демократии в России. Как говорится, *guess what?* «Поколение Pepsi» (точнее, более современных и модных напитков, вроде Red Bull) прочно интериоризировало консюмеризм (и то без драматического надрыва «хапуг» и фарцовщиков советских времен) и глубокое убеждение в нормальности богоданной власти в стране. Никто не видел массовых митингов 18-летних против призывной армии, а толпы молодежи, собранных служивыми неоконсомольцами, — сколько угодно. Оказалось, что, не имея навыков внутреннего сопротивления давлению режима (могущего быть сколь угодно демократическим и либеральным), люди проваливаются из «ноосферы» общества в «тело» социума, утрачивают субъектность личных интересов и ценностей и начинают соревноваться за лучшее воплощение нормативной коллективной субъектности. Если человек считает, что окружающее социальное пространство гармоничнее и совершеннее его внутреннего мира, начинаются попытки встроиться, врат в это пространство любой ценой, стать большим коммунистом, чем Сталин, лучшим католиком, чем папа, более глянцевого Пэрис Х., чем Ксюша С. Люди сливаются в социальное тело, а у частей тела нет субъектности, одни только функции. «Совок», о необходимости которого на протяжении 1990-х годов твердил Глеб «Павлушка-ёж» Павловский, не имеет (и не может иметь) определенной идеологической физиономии. Это идеал народной *массы*, делегировавшей свою субъектность и субъективность — эстетический вкус, здравый смысл, представления о справедливости — вовне и наверх, в обмен на уверенность в стабильности и безопасности. Этот капитальный проект глобальной социальной инженерии в значительной степени уже увенчался успехом, поэтому смена джинсов на кафтан (на ха-

лат, на акваланг) может оказаться второстепенной косметической процедурой. Не нужно дожидаться формальной смены декораций, чтобы понять: структурное перерождение социальной среды *уже* произошло.

То, как функционирует человек внутри идеального русского национального тела, мы видим на примере опричника Андрея Комяги. То, что он опричник, только подчеркивает нормативную типичность, но никак не исключительность его опыта: убийства занимают сравнительно незначительную часть его времени, являясь эдакой спецификой профессии. В то же время насилие является естественным и единственным механизмом регулирования общества, решившего, что оно живет по принципам биологического тела (любое ограничение которого означает отмирание-умерщвление части биомассы). Высшая воля и субъектность находится вне опричника Комяги: то, что и как он должен делать, ему указывает Государь, Государыня, в крайнем случае — его босс Батя. Это не значит, что он вовсе лишен инициативы: он считает себя вправе на наслаждения (и, будучи членом элиты, претендует на легализацию для своего круга особых, элитных наслаждений). Он допускает некоторые вольности в отправлении своих прямых обязанностей (продажа «половины дела») и даже напрямую занимается противозаконной деятельностью, участвуя в схватке с таможеней за крышевание транзитной торговли. Однако все эти вольности вполне системны — более того, они полностью обусловлены реальным функционированием социального организма. Злоупотребляя органицистской метафорой, можно сказать, что телу «полагается» соблюдать гигиену и заниматься гимнастикой, но реально оно предпочитает почесываться, курить или принимать алкоголь в пределах, допустимых дееспособностью наиболее важных органов. В конце концов, удовлетворение никотиновой и прочей физиологической зависимости не требует санкции головы.

Коль скоро субъектность (средоточие воли, анализа, совести) в этом обществе надындивидуальна, каждый человек в отдельности взаимозаменяем. Нам очень легко представить эту картину мира по сравнительно недавнему сталинскому режиму. В логике антитоталитарного дискурса принято удивляться: неужели политическое руководство государства может быть столь близоруким и наивным и не понимать, что, истребляя гениев науки и литерату-

ры, оно не сможет механически заменить их очередными «винтиками»? Этот риторический вопрос просто непонятен тем, кто существует внутри логики социального тела — будь то «социалистическая» или «русская» нация. Функция знания, умения, зрения присуща всему организму в целом, отдельные элементы которого лишь допускаются к их отправлению, справляясь со своей задачей хуже или лучше.

Органицистская метафора является дурным тоном в социальном анализе, мало что объясняя в общественном устройстве, но она является одним из фундаментальных языков самоописания — а значит, и моделей самоорганизации — в определенных типах общества. Комяга ведет себя так, как рассказывается в книге, не потому, что утопическое русское общество будущего устроено подобно тому, как устроен человеческий организм; но именно потому, что люди вживаются в роль «малых детей при родителях» или «клеточек единого организма», сложное социальное пространство обретает свойства «национального тела». Его отношения с окружающими продиктованы этой функциональностью, производностью индивида: его коллеги по опричнине — братья, но никто из них не замедлит убить бывшего собрата («Чуть что — и своего порешат, не дрогнут»), если будет на то высшая воля: «ничего личного». Интимные ритуалы опричнины, придуманные Сорокиным, лишь отчасти являются модернизирующей пародией на бесчинства позднесредневековых опричников, опьяненных моментальной и тотальной эмансипацией от традиционных норм и табу. Телесное восприятие общества (присущее любому национализму как дискурсу о единстве коллективной души и тела) замещает социологические процессы — физиологическими. Преодолевая объективную отдельность человеческих индивидов, опричники физически сливаются в фантастической гомосексуальной оргии в единое тело и мысленно представляют себя единым существом — многоголовым драконом — в результате совместного наркотического сеанса<sup>2</sup>. В конце «рабочего дня» к ним вновь возвращается

<sup>2</sup> Испытываемое ощущение реального слияния в общее химерическое тело Змея-Горыныча — счастье, которое «...несравнимо ни с какими теремами, ни с какими печами-самоходами, ни с какими женскими ласками...».



их биологическая «отдельность» лишь после странного садомазохистского ритуала за круглым столом (одновременное сверление ноги соседа): переживание боли оказывается единственным индивидуализирующим актом, и единое тело специализированного аппарата насилия распадается, как только первый, не выдержавший боль, издает крик. Распадается до следующего рабочего дня.

Язык телесности, политика тела оказываются универсальным культурным кодом доминирования и подчинения, обмена и разграничения в воображаемом русском обществе точно так же, как этот язык преобладает во внедискурсивных пространствах современной тюрьмы или армии. Органицистский идеал национального тела воспевают «соборность» духовной жизни, что предполагает ее крайнюю статичность и незатейливость — в основной массе населения. Реальным производством смыслов, интеллектуальной деятельностью занимается лишь верхушка пастырей, которые в состоянии избегать смысловых конфликтов и противоречий, столь пагубных для монологичного восприятия единства национального тела. Для массового потребления изготавливается культурный эрзац-продукт, который падает на благодатную почву, не в последнюю очередь потому, что «диссиденты» не могут предоставить полноценную альтернативу официозу: и народ, и художники-отщепенцы оказываются заложниками разделяемой ими модели общественного устройства. Главным залогом стабильности этого устройства служит не дюжина опричников и даже не «Тайный приказ», а общая готовность населения быть частью коллективного национального тела и боязнь отколоться, отпасть от единого организма («...это — хуже смерти»).

Но что двигает теми, кто устанавливал и поддерживал этот порядок, что является высшей целью руководителей русского национального тела? Официальная пропаганда, идеология служивой элиты и собственные размышления властей придерживающихся сходятся в одном: произошло «Возрождение Святой Руси». Однако сама по себе реконструкция поэтики и эстетики позднесредневековой Московии (столь милая сердцу славянофильской традиции) не может являться ни программой, ни целью. Очень важную роль в национально-патриотической риторике режима в книге играет антиамериканизм и вообще антизападная истерия (столь характерная для современного русского национализма), однако эта реактив-

ность подчеркивает вторичность русского национализма, определяющего себя лишь через отрицание чужих позитивных проектов. О подлинном смысле возрождения Руси «за стеной» размышляет в заключительной части книги захмелевший (а потому в логике повествования высказывающий более глубокие и сокровенные мысли) предводитель опричников:

...ради чего Стену строили, ради чего огораживались, ради чего паспорта заграничные жгли, ради чего сословия ввели, ради чего умные машины на киллилицу переиначили? Ради прибытка? Ради порядка? Ради покоя? Ради домостроя? Ради строительства большого и хорошего? Ради домов хороших? ...Ради всего правильного, честного, добротного, чтобы все у нас было, да? Ради мощи государственной, чтобы она была как прямо столб из дерева тамаринда небесного? ...Чтобы бегали все стаями, хорошо бегали, прямо, кучно, пресвятая, начальников слушались, хлеб жали вовремя, кормили брата своего, любили жен своих и детей, так?

Так вот... не для этого все. А для того, чтобы сохранить веру Христову как сокровище... Вот поэтому-то и выстроил Государь наш Стену Великую, дабы отгородиться от смрада и неверия, от киберпанков проклятых, от содомитов, от католиков, от меланхоликов, от буддистов, от садистов, от сатанистов, от марксистов, от мегаонанистов, от фашистов, от плюралистов и атеистов!.. Ибо вера... — это колодезь воды ключевой, чистой, прозрачной, тихой, невзрачной, сильной да обильной!

Эта вдохновенная заключительная проповедь, которая с формальной точки зрения должна была расставить все точки над *i* в книге, лишь заостряет проблему осмысленности существования «русского национального тела». Ибо она дезавуирует все наглядное и «позитивное», что принесло с собой «Возрождение Руси» как незначительное и поверхностное, а главным называет торжество православия. Учитывая, что при всей своей набожности опричники (а также все прочие упомянутые в книге представители элиты, включая семью Государя) вполне могли бы возглавить ряды содомитов, садистов и сатанистов, обличительный пафос проповеди звучит не слишком убедительно. При всей (пусть и неоднозначной) ангажированности православия в русский националистический проект попытки добиться канонизации Ивана Грозного в последние годы окончились неудачей, и вряд ли грехи

стяжательства, прелюбодеяния, наркомании и убийства могут получить формальное оправдание церкви, даже если они направлены на упрочение ее роли. Дело не в том, клеветает ли писатель Соколин и его персонаж-опричник на церковь, а в том, что культ русской «национальной телесности» вряд ли совместим с христианской духовностью, даже в ее самом консервативном и воинственном понимании. Очевидно, под «верой Христовой» понимают опричники нечто иное, что является для них высшей святыней. В другой раз тот же персонаж вразумляет пойманного на прелюбодеянии зятя Государя:

...ты страсть свою выше государства поставил... — Ты думаешь, за что на тебя Государь осерчал? За то, что ты ешь в огне любишь? За то, что дочь его срамишь? Нет. Не за это. Ты государственное имущество жег. Стало быть, против государства пошел. И против Государя... все мы — дети Государевы, и все имущество наше ему принадлежит! И вся страна — его!.. Был ты зятем Государя, а стал бунтовщиком. Да и не просто бунтовщиком, а гадом. Падалью гнилой.

Обнаружение безусловных табу указывает на присутствие высших сакральных ценностей. Ни один из смертных грехов не воспринимается как непростительное преступление против «веры Христовой», но покушение на «государственное» (Государево) имущество карается смертью. Комяга не раз повторяет: он готов отдать жизнь за Государя, за «рафинад Кремля»; про веру Христову — не выказывает готовности. Очевидно, речь идет о сакрализации самого «национального тела», объявленного и средством, и объектом высшего служения — не случайно на ум приходят параллели с орденом тамплиеров, сочетавшим будто бы пороки с христианским служением и преуспевшим более всего в укреплении своего могущества и богатства. Не случайно высший религиозный экстаз опричник Комяга испытывает после психоделического и физического соития со своими сослуживцами в единое тело:

Пробуждение...

Подобно воскресению из мертвых оно. Словно в старое тело свое, давно умершее и в землю закопанное, возвращаешься. Ох, и не хочется!

...Неопишимо. Потому как божественно.

Райскому блаженству подобно возлежание в мягких лонгшезах-лежаках после опричного совокупления.

Высшей субъектностью, но и высшей реальностью является коллективное национальное тело. Все прегрешения опричников — убийства, насилия, коррупция, мародерство — всего лишь моменты процессов «метаболизма», обмена информацией и ресурсами на межклеточном уровне, обеспечивающих жизнедеятельность всего организма в целом. Другое дело — попытка нарушить эту целостность, монолитность, уничтожить или оторвать от него хотя бы частичку «материи». За это «мыслящая протоплазма» национального тела карает безжалостно.

Жизнеспособен ли этот социальный организм? Как будто бы да: Россия обширна, от Дальнего Востока до Кавказа, без Украины, но с Крымом. По границам выстроена Великая Стена, через которую проходят лишь Трубы, периодически перекрывающиеся задвижками: очевидно, реальной угрозы извне не существует, наоборот, ослабевшая Европа сама зависит от поставок российского сырья. Тайный Приказ и опричина решительно выкорчевывают малейший намек на крамолу, население обеспечено всем необходимым (хотя и без изысков), а элита имеет возможность удовлетворять любые свои прихоти. Но отчего-то главного героя не отпускает тревога, предчувствие надвигающейся опасности, которые нельзя объяснить одной лишь чекистской паранойей.

Успешно развивающееся национальное тело создает угрозу самому себе — и потому, что оно *живое*, и потому, что *тело*. Протекающие органические процессы грозят неизбежными изменениями *status quo*, а отчуждение всякой субъектности от индивидов, вросших в тотальность национального тела, оставляет его с непропорционально мелкой «головой». Опричник Комяга приговаривает: «Государева воля — закон и загадка». Для стабильности власти это, возможно, и хорошо, но для развития страны в меняющейся обстановке — опасно.

Как всегда в тоталитарном обществе, главная угроза исходит от пуристов официальной идеологии, обличающих разрыв между «словом и делом». Их невозможно преследовать на формальных основаниях, коль скоро они выступают за чистоту сакральной идеи, а косвенные техники воздействия оказываются чре-

ваты непредсказуемыми последствиями. «Народный сказитель» Артамоша — звезда поп-культуры в обществе, лишенном возможности артикулировать и обсуждать идеи. Он оперирует в жестких рамках былинного пения и, возможно, архаического мифопоэтического мышления. Однако, обличая в своем творчестве разврат правящей верхушки, вполне в духе официальной идеологии, он оказывается в структурной ситуации системной оппозиции, которую трудно уничтожить, не скомпрометировав власть. Другими революционными сюжетами для сказителя, собирающего залы поклонников, могли бы стать осуждения поборов с купцов, страсти элиты к обогащению, непоследовательности в чистках и т.п. Случай Артамоши показывает, что даже в обществе Возрожденной Руси может накапливаться социальный протест, находящий выход в наиболее естественном и опасном для властей направлении неофундаментализма, массового движения за возрождение чистоты прокламируемых идеалов. В средневековой Германии или в современной Палестине «безмолвствующее большинство» апроприирует единственно дозволенный язык официальной доктрины для выражения своего протеста. Этот протест не направлен непосредственно против самой системы, но против искажения, «коррупции» ее идеалов властями предрержащими.

*Коррупция* в идеальном национальном теле наступает с того момента, когда часть его отказывается жить по общим правилам «мыслящей протоплазмы», претендуя на особый статус, право на исключительность и привилегии. Репрессивный аппарат может поддерживать господствующее положение этого меньшинства, но он не в состоянии устранить разлагающее воздействие элитизма на организм «национального тела». С этой точки зрения опасность представляет и «социал-готическое» устройство общества, поделенного на сословия. Наиболее органичной политической формой для общества национального тела является фашистский режим, примиряющий эгалитаризм массового современного общества с наличием эффективной государственной машины. Фашизм релятивизирует внутренние социальные перегородки классов и сословий, стимулируя вертикальную мобильность и следя за тем, чтобы существующие элитные группы не вырождались в наследственные касты. Существование фашистского по типу института новой опричнины и аристократической верхушки — источник постоянных конфлик-

тов (о чем регулярно упоминается в книге) и потенциально дестабилизирующий фактор. Надежда на гармоничное сочетание «подлинно национальной» аристократии и «национального тела» в духе фантазий правых *à la* Эвола или славянофильской идеализации допетровской Руси, очевидно, неосуществима. Фашистские режимы середины XX века настороженно отнеслись к национал-аристократическим утопиям, а знать Московии поддерживала не меньшую социально-культурную дистанцию с простолюдинами, чем европеизированная аристократия петербургского периода. Как известно из истории, торжество национального единения всегда выдвигает на первый план лозунг «Аристократов — на фонарь!»

Но единству русского национального тела угрожают не только тромбы сословной системы и язвы коррупции. Загородившись стеной от пагубного европейского «плюрализма», новая Святая Русь оказалась подверженной идеологически нейтральной, но от этого не менее мощной китаизации. Китайский язык в новой России учат в массовом порядке (с различным успехом), как прежде английский, «китайцы расширяют поселения в Красноярске и Новосибирске», «китайцев в Западной Сибири 28 миллионов». Да что Сибирь — «Медлю, проезжая по Ордынке. Сколько здесь китайцев, Боже мой...». Чистота русского национального тела, которая служит главным смыслом и оправданием существования режима, подвергается постоянной и реальной эрозии, и эта опасность столь реальна и неотвратима, что о ней даже не принято говорить вслух. Когда же фрустрация прорывается вслух, она натывается на стену железных аргументов:

И не токмо мясо. Хлеб, и то китайский едим.

- На китайских «меринах» ездим!..
- На китайских «Боингах» летаем...
- Из китайских ружей уток Государь стрелять изволит...
- На китайских кроватях детей делаем!..
- На китайских унитазахправляемся!..
- Верно! И покудова положение у нас такое, надобно с Китаем нам дружить-мировать, а не биться-рататься.

Прорвавшиеся страх и фрустрация привычно заглушаются национал-патриотической экзальтацией:

— Держава наша не пропадет, не боись. Главное дело, как Государь говорит: каждому на своем месте честно трудиться на благо Отечества. Верно?

— Верно! — откликаемся.

— А коли верно — за Русь! За Русь!

— За Русь! Гойда! За Русь! За Русь!

Между тем «труд на благо Отечества» ограничивается поддержанием жизненного цикла национального организма. Реальная продуктивная деятельность полностью передана Китаю, который стал незаменимыми «руками» русского национального тела (а не только «бессознательным Россией», как вещает по западным радиоголосам Борух Гросс/Гройс). Строительные объекты, самолеты, оружие, автомобили, одежда, наркотики, даже шампанское — китайские. Святая Русь полностью лишена собственного творческого продуктивного начала, о чем недвусмысленно рассказывается на языке телесности: детородные органы опричников (и, вероятно, остальных представителей элиты) также являются продуктом китайской творческой интервенции (медицинской). Конечно, КНР и сегодня играет роль всемирной промзоны, но главная причина описанного в книге расклада заключается не в «русофобском» произволе автора, а в том, что «мемориальные» культуры, нацеленные на консервацию «этнического гомеостаза» (термин органициста Л.Н. Гумилева), иначе и не могут функционировать.

Ключевым сюжетом в этом отношении является визит Комяги к ясновидящей Прасковье. Весь его путь к терему в недрах сибирской тайги должен был бы олицетворять восхождение к средоточию русскости, на деле же оказывается демонстрацией глубины проникновения Китая внутрь русского национального тела. Самолет, аэродром, вездеход привычно уже маркируют торжество китайской производительной силы. Но китайская экспансия не ограничивается материальной культурой. Приехав к ясновидящей Прасковье, Комяга поднимается по резному крыльцу, украшенному в русском стиле, и попадает *внутрь*.

Внутри — совсем по-другому. Нет тут ничего резного, деревянного, русского. Голые гладкие стены, камнем-мрамором отделанные, каменный пол, зеленым подсвеченный, потолок черного дерева. Горят светильники,

курятся благовония. Струится водопад по стене гранитной, белеют лилии в водоеме.

Прохожу внутрь дома. Как всегда — пусто и тихо. Стоят в полумраке вазы китайские, звери, из камня точенные. Виднеются на стенах иероглифы, о мудрости и вечности напоминающие.

Китайские слуги одеты в китайскую *национальную* одежду, и гость обязан переодеться в халат и тапочки, чтобы быть допущенным к ясновидящей. Прасковья принимает гостя у очага, в который подбрасывает томики русской классики — «Идиот», «Анна Каренина», дающие особый, «теплый» огонь. Комяга смущен:

— Классика русская полезна для государства.

— Голубь, книги должны быть только деловые: по плотницкому делу, по печному, по строительному, по электрическому, по корабельному, по механическому, по ткацкому, по шацкому, по прейному, по литейному, по трошному да брошному, по кирпичному да по пластичному.

Понятно, что это предостережение тщетно, слишком поздно. Как уже говорилось, торжество «национального тела» несовместимо с «духом», хотя именно «классика русская» немало сделала для торжества культа русского национального тела как воплощения Святой Руси. Теперь же эти книги годятся только на то, чтобы раскрывать внутренний взор ясновидящей, особенно когда подобраны в тему: утопающая в мещанском быте и эстетике Государыня отправляет Прасковье на растопку томики Чехова, а сама ясновидящая бросает в огонь «Анну Каренину», привораживая к Государыне сердце гвардейца... Уходя, Комяга задает ясновидящей главный вопрос, который его мучает:

— Что с Россией будет?..

— Будет ничего.

«Ничего» — в смысле «да все так же, без перемен»? Такова конечная цель системы Возрожденной России, которая начала разлагаться, не успев до конца очиститься от «скверны». Или «ничего» — и значит «ничего», *nihil*?



...Воображаемое сообщество русского национального тела — не плод одинокой фантазии писателя Сорокина. Это важный элемент русского литературного и философского наследия, таких фундаментальных тропов и мифологем, как «народ-богоносец», «соборность», «философия общего дела» и т.п. Это живой политический проект значительной части современного политического спектра, далеко не ограничивающейся фашиствующими группировками. Наконец, это актуальный язык заметного сегмента российского обществоведения, творчески развивающего советскую теорию этноса в направлении научного обоснования органицистских этноцентричных политических проектов<sup>3</sup>. Владимир Сорокин проделал работу, которую должны были бы проделать политики и обществоведы, если бы у них доставало на то образования и навыков анализа. При этом (или — в первую очередь) Сорокин написал хорошее художественное произведение, в лучших традициях русской идейной прозы, далеко не сводящееся к социально-политическому анализу. Сам же этот анализ, при всей глубине, оставляет открытыми некоторые важные проблемы.

Так, книга выносит однозначный приговор идеалу России как закрытому обществу русского национального тела в основном на основании его неконкурентоспособности на мировой арене. В отличие от исторической Московии Возрожденная Русь не является экономически самодостаточной, поэтому даже Великая Стена не может уберечь ее от вызовов внешнего мира, которые в свое время заставили даже Московию выйти из изоляции. При этом за кадром остается фактор внутренней гетерогенности страны. Книга уделяет мало внимания положению «иностранцев», проблеме протяженности и неравномерности даже «русской России» (в какой-то степени об этом говорится в недавно вышедшем сборнике В. Сорокина «Сахарный Кремль»). Еще одним интересным, но, к сожалению, оставшимся неразвитым сюжетом является тема Государыни как возможной новой Матушки Екатерины (со всеми вытекающими последствиями этого политического сценария для политической культуры и идеологии).

3 Об этом см.: *Ушакин С. Жизненные силы русской трагедии: о постсоветских теориях этноса* // *Ab Imperio*. 2005. № 4. С. 233–277.

Было бы очень интересно узнать, а какие *другие* варианты развития остаются у современной России — более динамичные, творческие, учитывающие ее внутреннюю неоднородность, а то и напрямую отталкивающиеся от этого фундаментального обстоятельства? Хотя, возможно, этот вопрос не следует адресовать Владимиру Сорокину, если ответ заведомо не предполагает историю мучительно-сладкого растворения индивидуального духа в коллективном теле и насильственного соединения физически разнородных тел в единое вымышленное целое.

## Василий Аксенов: недописанный роман русского западничества<sup>1</sup>

В январе 2008 года, точно реализуя метафору в конкретном действии (в полном соответствии со своим художественным методом), Василий Павлович Аксенов был выбит из колеи внешним препятствием. Инсульт за рулем, автомобиль врезается в дорожное ограждение. Что-то похожее происходит и в «параллельной реальности»: только что шумно отпразднованный юбилей стал поводом для объявления новых грандиозных планов, которые теперь повисли в воздухе; последний, только что опубликованный роман «Редкие земли» впервые за полвека создает ощущение, что автор не вполне знает, о чем пишет и что ему делать с героями и материалом<sup>2</sup>. А ведь пишет не о туманном прошлом, не о фантастических параллельных мирах, а о современной России, в которой подолгу живет и которую имеет возможность наблюдать. Некое ощущение тупиковости, по крайней мере резкого отклонения от

<sup>1</sup> Эта статья была закончена за три недели до смерти Василия Аксенова. Василий Павлович уже полтора года вынужденно молчал, но сохранялось ощущение его присутствия, интеллектуального и человеческого влияния. Собственно, ничего в этом отношении не изменилось и после 6 июля 2009 года.

<sup>2</sup> Как написал в Эпilogue сам Аксенов: «Такое уже не раз случалось в моей практике сочинительства романов. Не только характеры показывают свой нрав, противится и композиция. Роман разваливается и тем самым свершается». Самостоятельность материала и правда чувствовалась всегда в прозе Аксенова, но как-то все прежние романы «свершались», не разваливаясь... (цит. по: *Аксенов В. Редкие земли* // Октябрь. 2007. Спецвыпуск «Василию Аксенову — 75 лет». С. 211).

прежней траектории, возникло еще до болезни Аксенова, например на юбилейных торжествах: странно было видеть ветерана стилижничества с медалью на лацкане пиджака, слышать рассказ о приеме в Кремле, о совместном заседании за круглым столом с Дмитрием Медведевым, который «вполне нормальный парень».

Впрочем, отчего же и не принять юбилейную награду, почему Аксенов должен был отказываться от похода в Кремль, сторониться молодого предприимчивого мэра Казани, организовавшего ему не просто чествование в городском масштабе, а грандиозный «Аксенов-фест»? На чем основано скорее эстетическое, чем логическое неприятие публичного поведения Аксенова последнего времени? Строго говоря, Аксенов не сторонился власти и в 60-х годах, пока она не начала отстранять его, он не раз повторял — от себя и от имени своих лирических героев, — что он не диссидент, не борец с той или иной политической системой. В общем, почему бы успешному, по заслугам признанному писателю не принять знаки внимания от власти и людей, которые не имеют прямого отношения к старому режиму. Даже напротив, они буржуазны и раскрепощены, любят джаз и большие автомобили, они вполне могли бы отыскать своих прототипов в ранних мечтательных произведениях Аксенова. По крайней мере, он сам попытался отыскать их там, написав богатые реминисценциями и самоцитатами «Редкие земли». Но то ли искал не там... не тех... Аксенову не удалось убедительно показать, почему сегодня можно принимать из рук этих людей награду так же, как сорок лет назад — стакан портвейна или гитару из рук комсомольских товарищей.

Художественная тупиковость «Редких земель» напрямую связана с общеполитической тупиковостью всей современной российской действительности: нет никаких принципиальных оснований для отторжения нынешнего режима, кроме нравственного чувства, но на этом основании оппозиционной программы не напишешь, да и конструктивно ли мерить политику этическими категориями? Если в стране утвердилась капиталистическая экономика и парламентская демократия, то всякая *системная* оппозиция должна идти дальше требований отдать под суд команду питерских политических рейдеров, тогда нужно бороться за принципиально другой строй. Если же системных разногласий нет, то остается играть по правилам, навязанным политическими жуликами

властями предержажими; их «жульничество» вызывает этический протест, что трудно перевести в плоскость конкретной политической платформы. В результате часть правителей воспринимается как «сволочи», часть — как «вполне нормальные парни», а в целом режим признается «вполне своим»: не об этом ли мечтали при совете? А что, у американцев (французов, итальянцев) безобразий меньше? Да и в семье идиллии не бывает, что уж про общество говорить...

Политическая апатия и афазия российского общества нулевых годов связаны с назревавшим тупиком русского западничества как духовного идеала и политического проекта. Если считать, что западнический проект наконец-то осуществился, то все его недостатки приходится признавать наследственными родовыми свойствами: такими уж уродились — и отказаться от дальнейшей борьбы. Тогда и Кремль, и даже Лубянка теряют свою одиозность, особенно если представлены нормальными людьми, не монстрами. Если же при Ельцине и при Путине реализовалось некое «неправильное», искаженное западничество, то надо — ни много ни мало — открыть «истинную» версию вестернизации. Потому что об альтернативе «западничеству» — в духе Ирана, Северной Кореи и даже Китая — говорить серьезно не приходится. Вот в таком тупике оказалось российское общество, включая активистов «комитета 2008», к январю 2008 года, когда Аксенов попал в больницу.

Частная трагедия Аксенова и переживания миллионов людей, которые любят этого писателя, оказываются накрепко переплетены с дилеммой, вставшей перед всем российским обществом. Как показало нынешнее десятилетие, в России нет политиков (оппозиционных или официозных), философов и историков, которые могли бы сравниться с Василием Аксеновым в анализе сути нашего западничества и одновременно в формулировании новой западнической парадигмы. Василий Павлович Аксенов не только самый модернистский российский писатель, но и «зеркало русского западничества». Аксенов известен своей публицистикой с весьма ясным *message*, однако самое интересное происходит в его художественных произведениях, которые все объединены общей темой: человек, ощущающий себя частью европейской цивилизации, взаимодействует с российским обществом. Эта тема разворачивается, разыгрывается и разрешается с самых первых повестей Аксенова,

достигает особого драматизма в его «новых романах» и в предчувствии некоего окончательного открытия упирается в «тупик» «Редких земель»... Частная эстетическая неудача воспринимается как то самое исключение, что лишь подтверждает главный принцип, как доказательство того, что внутренний поиск Аксенова был на правильном пути и что его «временное отклонение от траектории» должно вернуть его на верный путь. В надежде на то, что Василий Аксенов после выздоровления сможет сам расставить все точки над старорежимно-иностранной *i*, кратко проследим эволюцию «западнической дилеммы» в его творчестве, чтобы понять, в каком направлении собирался сделать шаг — или должен был бы сделать — Аксенов перед аварией.

### Генеалогия *Homo occidentalis*

Если для Псоя Короленко единицей высказывания является не отдельная песня, а концерт, то для Василия Аксенова это, конечно, книга. Отдельная глава, сцена, реплика героя, как бы он ни походил на автора, не выражают законченную мысль произведения. Это связано, между прочим, и с пресловутой «джазовостью» аксеновской композиции, когда «сюжет» (тема) оказывается лишь поводом для импровизаций, соло и *ensemble*. Иногда с организованным хаосом не удается справиться, и возникает ощущение пущенной на самотек халтуры, но гораздо чаще рождаются удивительные новые смыслы и ощущения. Зачастую импровизации, боковые ответвления сюжета оказываются вообще никак не связанными с «художественной задачей» произведения, точнее, они объясняются именно нежеланием писателя рвать ткань художественного текста техническими ремарками. Если автору важно сказать, допустим, что у героя зачесалась голова, он выдумает сцену в трамвае, соприкосновение волос с детально описанным нечистоплотным персонажем, переживания героя по этому поводу — в результате у читателя у самого возникнет интенсивный зуд головы. Смысл всей сцены — всего лишь избежать авторского произвола там, где он оказался бы мелочным вмешательством в действия персонажей. (Таковы механизм и функция детальных «инсценировок» феерических половых актов и прочих телесных отправле-

ний в книгах Аксенова.) Обратной стороной этого приема оказывается разбухание текста (что заметно по книжной полке с томиками аксеновских книг) и еще большая степень импровизации, которая требуется для вписывания реализованных в действие метафор и ощущений в основной сюжет.

Первая повесть Аксенова «Коллеги» (1960) фиксирует отправную точку интересующего нас процесса: исходную ситуацию почти полной гармонии человека, общества и идеала. Идеальная норма еще не внеположена (пространственно и политически) героям повести и окружающей их социальной среде. Гражданственность, научная рациональность и профессионализм составляют основу идеала, достижение которого возможно через личное самосовершенствование и общественную кооперацию. Этот архетипический текст советского шестидесятничества предлагал новый общественный договор между образованным обществом и режимом социализма с человеческим лицом. Дело литературоведов и биографов писателя выяснять, насколько искренен был в этой удивительно «советской» книге Василий Аксенов, за спиной которого к тому времени был арест родителей, жизнь в Магадане, столице ГУЛАГа. Нас же сейчас интересует лишь один аспект его творчества, и с этой точки зрения важно, что даже отрицательному герою повести не придет в голову «подорвать за бугор», позавидовать хоть чему-то в чужой жизни. Все, что нужно для счастья, уже есть здесь, надо лишь, чтобы никто не мешал этому: слушать джаз, сидеть в чистеньком кафе, работать на пользу людей и страны, применяя свои способности и получая в ответ признание и мало-мальски пристойное вознаграждение. За границей молодой писатель еще не бывал, и сталинская версия модерности казалась вполне приемлемой при условии полного отказа режима от людоедства. Другим принципиальным требованием аксеновского раннего благонамеренного западничества было право на индивидуализм и индивидуальность: не случайно носителями передового научного знания в повести являются врачи (Аксенов сам был медиком), а не инженеры, к примеру: никаких «основных фондов», цеховых собраний, спущенных сверху заданий. Только Мастер лицом к лицу с человеком, нуждающимся в его помощи.

Это гармоничное ощущение близости к идеалу (по крайней мере, ясности по поводу сути этого идеала), лежащее в основе пре-

словутого «оптимизма 60-х», вернется к обитателям России лишь спустя сорок лет. Тогда люди вновь поверят в окончательную нормализацию (хотя и на других основаниях), в то, что обладание новым сотовым телефоном, сумкой или внедорожником делает их частью глобального передового отряда человечества. Режим, обеспечивающий такую нормализацию, вновь покажется классово близким «главным европейцем в России». Как естественно было искать поддержку в ЦК КПСС коллегам В.П. Аксенова в 60-х, так же незасорно стало наведываться на Старую площадь и в Кремль в 2000-х (в том числе и самому Аксенову: тогда — и нынче). Но не будем забегать вперед. Как и положено, изначальная гармония внутреннего мира писателя продержалась недолго. Жизнь вокруг менялась медленно, а представления автора о норме — куда динамичнее. Все более сложному внутреннему миру лирического героя прозы Аксенова все меньше соответствовали рамки социальной нормы советского среднего класса — тогда казалось, именно советского.

Сначала этот разрыв между пластами реальности, который находил художественное выражение во все большей экспрессивности и полифонии письма, можно было удерживать в рамках жанра «рассказа с преувеличениями» (как «Победу» 1965 года). Постепенно об Аксенове начали говорить как об авторе фантастических произведений, сам он начал рутинно давать своим книгам подзаголовки типа «повесть с преувеличениями и сновидениями», «с преувеличениями и воспоминаниями» и т.п. Нарастающее ощущение абсурдности социального контекста, его конфликта с внутренним миром человека у Аксенова сочеталось с утопической мечтой о возможности восстановления утраченной гармонии. В некотором смысле его восприятие извечного экзистенциального конфликта личности и общества было куда оптимистичнее взгляда на мир его западных коллег: Аксенов не без оснований полагал, что абсурд в жизни людей в одних странах куда более «густой», чем в других...

Как справедливо опасались партийные критики, вслед за созданием автономных «внутренних миров» своих героев Аксенов двигался к тому, чтобы помыслить альтернативную социальную реальность. Эта тенденция вполне логично завершилась написанием «Острова Крым» (1979), где, кроме прочего, была описана



«нормальная Россия», в которой нормативный идеал оказался максимально приближен к придуманной социальной реальности. При этом писателя привел в ряды антисоветчиков не столько политический протест, сколько «любовь к электричеству», вера в модернность и стремление оказаться причастным существующему где-то подлинно современному обществу современных же, сложных личностей, то есть западничество. Главным свойством шестидесятиничества была вера в то, что реализовавшийся где-то опыт модерности может быть перенесен и на российскую (советскую) почву. Как написал сам Аксенов в романе «Ожог» (1975):

Мы хотели жить общей жизнью со всем миром, с тем самым «свободолюбивым человечеством», в рядах которого еще недавно сражались наши старшие братья. Всем уже было неважно в вонючей хазе, где смердил труп пахана, — и партийцам, и народным артистам, и гэбэшникам, и знатым шахтерам, всем, кроме нетопырей в темных углах<sup>3</sup>.

Аксенов дал последний шанс режиму (и своим шестидесятическим иллюзиям), когда задумал альманах «Метрополь» (1979). Составившие сборник литераторы не требовали ни свободы политзаключенным, ни экономических реформ, ни демократии. Они довольствовались бы индивидуальной творческой свободой вполне лояльных власти художников, надеясь издать легальным способом в государственном издательстве художественное произведение, не прошедшее предварительной политической цензуры. Это значило уподобиться их коллегам из свободного — по крайней мере, современного — мира, всего лишь в полной мере приложить свои способности на родине, в ожидании достойного вознаграждения по труду — деньгами и славой. Что произошло бы, если бы эта попытка удалась? В «Скажи изюм» (1980–1983) Аксенов прощался с иллюзиями шестидесятиничества, искал выход из него, но еще не рвал со старыми надеждами окончательно. В некой параллельной реальности романа попытка неподцензурного издания заканчивается благополучно: чудесным образом политическая расправа над самостоятельными художниками в последний момент отменяется. С коммунистическими идеалами, конеч-

<sup>3</sup> Аксенов В. Ожог. Нью-Йорк, 1980. С. 32.

но, покончено: все положительные или хотя бы небезнадежные персонажи открывают для себя христианство, а свобода творчества и вообще личного самовыражения сплачивает советских людей в новую свободную нацию, позирующую для гигантской коллективной фотографии на Красной площади ангелу Раскладушкину. Выражаемое Аксеновым российское западничество — это не мечта об эмиграции и вообще о реальной загранице, это конструктивная надежда на достижение гуманистических этических идеалов путем заимствования элементов более рационального социального порядка у более современных обществ. Отказ от одного из элементов этой двойной формулы — идеи справедливости или веры в институциональные реформы — подрывает саму западническую идею на корню.

...Внутренняя идейная эволюция Василия Аксенова в который раз совпала с радикальной сменой жизненных обстоятельств. В 1980 году он оказывается на Западе в новой для себя роли: не туриста, не гастрوليрующего советского писателя, а «гражданина свободного мира». Русский западник должен был научиться жить на Западе. Аксенов добивается успеха и в этом и как университетский профессор, и как писатель. В определенном смысле кульминацией этого процесса «нострификации» русского западника становится написанный по-английски «The Yolk of the Egg» (1989, переведенный много позже на русский «Желток яйца»). Впоследствии в интервью Аксенов жаловался, что написанный специально для американской публики роман был не понят и не принят в Америке, но этот опыт окончательного перевоплощения в «американца» имел, очевидно, очень важные последствия для самого писателя. Собственной биографией Аксенов преодолел разрыв между двумя мирами, четко разграниченными на «ментальной карте» российского образованного общества. Оказалось, что западничество не находит на Западе не только конкретного «социально-политического» воплощения в смысле реализации идеала в пределах той или иной страны, но и воображавшейся прежде какой-то особенной субъектности «человека свободного мира». Оказалось, что люди везде разные в той же степени, в какой и одинаковые. Эта мысль формирует один из стержневых сюжетов романа «Новый сладостный стиль» (1998): несмотря на разницу в экономическом положении и социальных навыках, «западного»

и «восточного» человека объединяет внутренняя близость, большая, чем предполагает формальное родство этих персонажей романа, — потому что они такие же, как и некий первочеловек, найденный в удивительно сохранном виде при археологических раскопках в финале книги.

Столь заметный и важный социальный пласт прозы Аксенова всегда вторичен по отношению к внутренним переживаниям его героев в том смысле, что отношение к обществу формируется в результате размышлений персонажей (и автора) о жизни и смерти, разрешения любовных отношений, дружеских связей — и не наоборот. Личный опыт приводит к переоценке общественного устройства, поэтому Аксенов на протяжении десятилетий умудряется оставаться лидером и выразителем настроений «поколения» с довольно размытыми возрастными рамками. Ведь именно так, отталкиваясь от своего личного опыта, воспринимают новые времена и обычные люди, а вовсе не на основании чтения социально-политических трактатов и размышлений о системных процессах. Демифологизация Запада, закрывающая целую (советскую) главу в истории российского западничества, произошла в 90-х годах именно в результате личных размышлений граждан России и во многом вопреки официальной риторике «интеграции страны в общемировое пространство» (по крайней мере, в первой половине десятилетия). Именно в этом смысле Василий Аксенов может быть назван «зеркалом русского западничества»: он пишет не об обществе в целом, а о внутреннем развитии отдельного человека, но именно в результате этого развития меняется все общество, а диагноз писателя оказывается верным в масштабе целой страны.

Но если «Запад» — это не географическое понятие и не особая порода людей, то как объяснить причуды российской модернизации в прошлом и специфику вестернизации после 1991 года? «Запад» оказался развенчан как цельный идеал (что во многом объясняет успех антизападной истерии у разочаровавшегося населения России), но западничество как принцип осмысления общественной жизни в категориях общественной нормы и девиации осталось. В середине 2000-х годов Василий Аксенов написал два романа, которые оказались не только замечательной литературой, но и очень тонким анализом-предчувствием некой намечающейся «новой фазы» российского западничества. Речь идет о «Вольтерье-

янцах и вольтерьянках» (2004) и «Москва Ква-Ква» (2006). Очевидно, замышлявшийся как итоговый роман своеобразной лирико-историософской трилогии, «Редкие земли» до уровня предшественников явно не дотянул...

## Психоанализ русского западничества

На острове От[т]ец, окруженном со всех сторон бескрайними водами, стоит замок «Дочки-матери». В нем состоялась судьбоносная встреча Старого Мудреца (Вольтера) и воплощения всевластного женского начала и жизненной силы (под мужской маской), молодой Екатерины II. Они окружены бинарными персонажами, которые в разных сочетаниях образуют символические «четверки»: два полубрата и два их верных коня, сестры-близнецы и их родители, влюбленные сестры и братья и т.п. Им всем противостоит некая бесплотная мрачная Тень. По мере того как мысли и чувства главных героев становятся все более возвышенными, она вырастает в размерах и все больше материализуется, пока не обретает полную автономность...

Нет, это не цитата из работы Карла Густава Юнга, а вполне точная диспозиция главных действующих лиц романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Другая, второстепенная параллель возникает при чтении романа Аксенова с «историческими» фантазиями Александра Чаянова: это и неразрывно-неразлучные красавицы-близняшки, и демонический призрак в форме времен семилетней войны фон Сейдлиц (явно рифмующийся с персонажем Аксенова, известным как Сорокопуст, он же фон Курасс, он же Видаль Карантце и пр.)<sup>4</sup>. В общем, не имеет значения, сознательно ли заимствовал и цитировал писатель символизм чужих работ, или совпадения оказались совершенно ненамеренными: открытый и описанный Карлом Юнгом язык нерационального восприятия душевного мира как нельзя лучше подходил для написанного Аксеновым романа. Если Аксенов не читал Юнга, то он лишь подтвер-

<sup>4</sup> Ср.: Чаянов А.В. Венедиктов, или достопамятные события жизни моей [1921] // Чаянов А.В. Венецианское зеркало: Повести. М., 1989. С. 54–75.

дил прозорливость ученого и фундаментальность сделанных им наблюдений, а если заимствовал юнгианский символический язык сознательно, то тем самым признал его применимость в поэтически-философском романе о душе человека нашего — и прошлого — времени.

На самом деле значение работ Юнга далеко выходит за рамки психоанализа, по сути он оказался пионером структурной антропологии как науки о понимании языка самоописания Другого. Эта роль Юнга остается недооцененной, поскольку в середине XX века «настоящей» антропологии полагалось заниматься маргинальными культурами изолированных островитян или горцев. Парадоксальным образом, обнаруженным у них культурным практикам придавалось общечеловеческое значение. Юнг же занимался иной периферией, «провинцией души», которая, впрочем, как раз и объединяет человечество (и определяет его). Выделяемые Юнгом символические фигуры — Анима, Старец, Тень и т.п., а также их «роли» — не самодостаточные универсальные структуры подсознания (как Эго или Ид в системе З. Фрейда), а лишь устойчивые элементы символического языка «коллективного бессознательного», на котором каждый человек рассказывает свою собственную, уникальную историю душевной жизни. В этом отношении Юнг остается удивительно современным мыслителем, во многом предвосхитившим идеологию (если не методологию) постструктуралистского анализа. Мне уже приходилось ставить полноценный исследовательский эксперимент, анализируя беллетристику А.В. Чаянова первого послереволюционного десятилетия через призму аналитической системы Юнга, которого Чаянов никак не мог читать<sup>5</sup>. Не хотелось бы вновь пересказывать мою версию «системы Юнга», да и роман Василия Аксенова нельзя сравнивать с текстами Чаянова, в которых перемешаны графоманские опыты и наркотические видения злоупотреблявшего, очевидно, кокаином «бедного Александра Васильевича» (как за глаза отзывались о нем друзья). Параллели между произведениями этих двух авторов говорят только о том, что Аксенов мог интересоваться чаяновскими опытами в жанре «старинного романа», или же сви-

<sup>5</sup> Герасимов И. Душа человека переходного времени: Случай Александра Чаянова. Казань, 1997.

детельствуют о существовании неких культурных архетипов, обнаруживающихся в размышлениях о XVIII столетии русских интеллигентов начала и конца XX века (наряду с «общечеловеческими» юнгианскими архетипами).

Для нас сейчас важнее то, что Аксеновым четко обозначены координаты описываемой в романе реальности: это предыстория и «подсознание» современного российского общества, время, когда часть его впервые добровольно попыталась стать «западным». Роман начинается с того, чем закончился предыдущий роман Василия Аксенова: с иронического (уже) разоблачения деления людей на «западных» и «восточных» («европейцев» и «почвенников»). Два соперничающих рязанских семейства, «западников» Лесковых и «патриотов» Земсковых, породнились благодаря рождению сводных братьев — «птенцов гнезда Петрова», отпрысков заезжего петербургского просвещенного вельможи. Этот последний, кичащийся своей дружбой с Вольтером и репутацией европейца, не так уж отличается от своего идейного соперника и конкурента на писательском поприще, Александра «Исаевича» Сумарокова. В то же время сама наиевропейшая Франция, которую представляет Вольтер, вряд ли годится на роль лидера прогресса: не случайно встреча с Вольтером начинается с обсуждения ужасного случая недавнего уничтожения семьи французских гугенотов в Тулузе. «Европейскость» Франции проявляется в том, что акт фанатизма и жестокости был облечен в легалистскую форму и полностью соответствовал законодательству, однако подобное варварство, по сути, было бы немыслимо в «азиатской» России середины XVIII века. Итак, просвещенная элита Российской империи приглашает светоча Просвещения, Вольтера, на философское randevu на нейтральной территории, чтобы обсудить ключевой вопрос: что же означает истинное западничество (просвещение, прогресс, вольтерьянство) и что является залогом его необратимости и стабильности?

Прежде всего, обращает на себя внимание «состав делегации»: это сама императрица Екатерина II, руководитель «спецслужб», он же автор утопического романа и вообще «просвещенный мореплаватель» генерал Афсиомский, его незаконнорожденные сыновья-гвардейцы, они же представители нового поколения российского «уношества», и другие сопровождающие лица. В общем,

такой состав образованной элиты вполне характерен для середины XVIII века, однако для творчества Василия Аксенова это, безусловно, неожиданный поворот. Впервые на главные роли выходят представители «органов» («желез», на языке «Скажи изюм»), да еще описываются не просто игриво, а и вполне сочувственно. Да и все рассуждения автора про женское правление и его потенциально благотворное влияние на российские нравы XVIII века не могут отвлечь от куда более явной и очень аксеновской метафоры: «Степанида Власьевна» и «Галина Борисовна» (соввласть и ГБ) в одном лице отправляются к передовой западной мысли за советом, как им обустроить Россию. Постольку, поскольку коммунистический проект генетически связан с Просвещением, это корректная и глубокая постановка проблемы. Однако интересно, что, появляясь в куртуазном обличе европейского лоска 1760-х годов, обе гнусные бабы у Аксенова предстают и внутренне облагороженными, то есть даже «Тайная канцелярия» оказывается вполне respectable конторой, вот только разве положительным юношам государыня советует покинуть эту службу. В принципе, «нормализация» Конторы и понимание «государственных интересов» наметились в творчестве Аксенова давно: еще в «Скажи изюм» сводный брат главного героя рассуждает о необходимости разведки при любом строе, в любой стране (что, конечно, не распространялось на презренную тайную полицию). В «Вольтерьянках» этих нюансов уже не осталось: государственный интерес — он и в Африке, и в Оренбурге государственный интерес.

По законам российской истории — и в логике русского западничества — если уж озаботился государственным интересом, надо забыть о народе. «Элитизм» романа о XVIII веке, опять же, не вызовет ни у кого удивления — кроме читателей Василия Аксенова. Самые идеосинкретичные, «заумные», психологические произведения Аксенова более ранних периодов наполнены встречами, разговорами, сосуществованием героев с «простыми людьми»: таксистами, буфетчицами, собутыльниками, попутчиками, соседями и т.д. Причем это не статичные ряженные декорации, а живые и вполне самостоятельные люди, часть среды обитания героев. Эта «народность» аксеновской литературы совершенно естественна для человека советского опыта, когда страшной ценой оказалась изжита воображаемая или реальная пропасть между

«интеллигенцией» и «народом». И вот в 90-х годах «народ» становится все более абстрактной субстанцией в книгах Аксенова и вообще исчезает начиная с «Вольтерьянцев», превращаясь в статистов — поваров, слуг, наложниц и всякий зловещий сброд. Не гадая о причинах этой трансформации, подчеркнем первый вывод, вычитанный в романе Аксенова: когда власти передается роль «главного европейца», не имеет значения, что там делается в головах у простых людей. Важно только представителям элиты не переусердствовать в том или ином направлении (закрепощении или освобождении): иначе можно вызвать бунт или, как в случае Михаила Земскова, убийство в ответ на слишком уж активную деятельность по «метисации» местного крепостного населения по проекту его «Гран-Пера» (т.е. порчи девок).

Второй урок, который получили герои и читатели романа, — это трагическая неукорененность и необеспеченность свободы и всего строя западничества. Вольтерьянство умирает вместе с Вольтером, потому что лишь его нравственное чувство, постоянные сомнения и интеллектуальный поиск позволяют удерживать неустойчивое равновесие: чуть радикальнее — и впадешь в разрушительный нигилизм «немецкого химика», чуть осторожнее — и уподобишься просвещенному московитскому крепостнику. Институциональной гарантии торжества «истинного» западничества не существует, и единственной надеждой на успех оказывается философ на троне (коль скоро «народ» фигурирует лишь как статически-статистическая масса). «Вольтеровские войны», которые разыгрываются в параллельном пространстве романа на протяжении жизни Вольтера, выплескиваются в реальный мир после его смерти. Екатерина в растерянности отказывается от проведения дальнейших преобразований. Со смертью Вольтера исчезают всякие надежные ориентиры и гарантии истинного вольтерьянства.

Третьим важным мотивом романа оказывается критика разрушительного потенциала вольтерьянства и западничества, точнее, псевдозападничества, представленного разного рода самозванцами. Во-первых, это всевозможные государи и властители польских и германских земель, простирающихся от границ России до самой Франции и претендующих на «европейскость»: кто поставленный Санкт-Петербургом бывший фаворит императрицы,



кто просто получатель российских субсидий, а кто пленник идеи суверенитета любой ценой. Даже самые милые и симпатичные из них воспринимают вольтерьянство как не более чем рискованную моду, ставя на первый план совсем другие идеи и цели. Во-вторых, это «западная нечисть», которая является в трех «исторически обусловленных» ипостасях: средневекового чернокнижника, прусского милитариста века абсолютизма и студента-нигилиста нового времени. Это та Тень, которая, по Юнгу, растет и обретает независимость по мере того, как человек игнорирует негативные содержания своей души<sup>6</sup>. В конце концов жертвами Тени оказываются не Вольтер и Екатерина, а идеально-духовные создания, близняшки-курфюрстиночки — объекты возвышенной любви российских юношей. Нарушение неустойчивого равновесия между крайностями — европейским религиозным обскурантизмом и атеистическим нигилизмом, — согласно роману Аксенова, порождает кошмар сектантского насилия и мировых войн.

Наконец, самозванцами являются и два претендента на российский престол: свергнутый император Петр III и наемник многих европейских правительств «казак Эмиль».

Петр III оказался одним из многочисленных германских князьков, мечтающих породниться с династией Романовых. Ему выпал исторический шанс взойти на престол, но, как повторяют герои романа, все действительное справедливо: он оказался недостойн высокой миссии и поэтому потерял власть. Теперь он вынужден влачить жалкое существование в изгнании, скрывая странное уродство: два носа на лице. Этот очень «юнгианский» образ можно трактовать по-разному. Между прочим, можно вспомнить и мысль Виктора Жирмунского об отличиях двух типов искусства — «чистого» и «предметного». Последнее не может всецело определяться принципами художественной композиции и симметрии, «художник не может в угоду формальному композиционному

6 Как писал Юнг, «каждому из нас сопутствует в жизни Тень, и чем меньше она присутствует в сознательной жизни индивида, тем чернее и больше эта Тень. Если нечто низкое осознается, у нас всегда есть шанс исправиться. ...Но если это низкое вытеснено и изолировано от сознания, то... в момент, когда мы не отдаем себе отчета, оно способно прорваться наружу» (Юнг К.Г. Психология и религия // Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 182).

принципу изобразить на лице человека два носа...»<sup>7</sup>. В общем, Петр III не вписался в российскую «предметную реальность» со своими абстрактными принципами и «остался с носом», даже с двумя. В то же время и он, и казак Эмиль воплощают фигуру «трикстера» (пройдохи-перевертыша), о котором Юнг писал как о «коллективном образе Тени», «сумме всех низших черт характера». Казак Эмиль сам обладает бинарной природой: убивая настоящего Петра III, он фигурирует в Германии как злодей Барба Росса, а в России, очевидно, как Емельян Пугачев. Собирая вокруг себя отщепенцев, разговаривающих на адской смеси всех европейских языков, Казак Эмиль представляет особую разновидность «вольтерьянской реакции»: представителей простого народа, затронутых влиянием западничества. Вероятно, Аксенов именно в них (а не в бравых служаках ведомства Афсиомского) видел предвестие страшных рож сталинских палачей. Однако вопреки намерению самого автора — но вполне в логике государственнической и элитистской перспективы романа — полузападная маргинальная шваль из банды Эмиля весьма напоминает и совсем других «отщепенцев», которые, нахватавшись урывками западного влияния, восстают против благодетельного патернализма просвещенной власти и претендуют на собственную субъектность, грозящую разрушением величественному замыслу власти. Отчего-то все сочинители исторических романов видят себя в прошлом — в шутку или всерьез — среди графов и князей, хотя бы и таких объектов авторской иронии, как «конт де Рязань», генерал Афсиомский. А ведь для Екатерины Великой и дворянин Александр Радищев оказался «бунтовщиком, хуже Пугачева», что уж говорить про «сироту казанскую», писателя Василия Аксенова и людей его круга. Кроме как в шайке амбивалентного казака Эмиля, в маргинальной зоне между «Востоком» и «Западом», места им в социальном пространстве романа о второй половине XVIII века не сыскать...

Так роман о любви, о вере и безверии оказался экскурсом в прошлое русского западничества, которое имеет не меньшее право претендовать на наследие Просвещения, чем германское или фран-

<sup>7</sup> Жирмунский В.М. К вопросу о формальном методе [1923] // Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 102.

цузское. Лишь подлинный философ на троне был в состоянии убе-  
речь это наследие от искушений темной стороны европейского мо-  
дерна, а такая удача выпадает стране крайне редко. Степанида Влась-  
евна в XX веке могла бы, верно, оказаться и не такой дремучей, дикой  
и жестокой — ну хотя бы как Елизавета Петровна, если бы не варвар-  
ский народ, алчные «бояре», сложная внешнеполитическая обста-  
новка. Впору задуматься, не являлся ли и вправду Иосиф Виссарио-  
нович вполне «эффективным менеджером» в диких условиях своего  
времени, в системе победившей темной стороны вольтерьянства.

### Зияющие высоты сталинского модерна

Прошло два года и 190 лет книжного времени. Следующий роман  
Василия Аксенова, «Москва Ква-Ква», читается как продолже-  
ние «Вольтерьянцев», написанное на той же душевной волне, тем  
же юнгианским символическим языком. Вновь мы сталкиваемся  
с бинарными мужскими и женскими символами, неоднократно  
упоминается Вольтер, еще чаще — Платон, а к героине является  
в гости сама императрица Екатерина II (чтобы структурный парал-  
лелизм «музы Политбюро» Ариадны [фон] Рюрих и немецкой  
принцессы на российский троне не ускользнул от невниматель-  
ного читателя). Однако расстановка символических персонажей  
в новом романе отличается от предыдущего. Самое главное — про-  
изошла интеграция Тени, которая в «Вольтерьянцах» была пол-  
ностью вытеснена и потому воплощена в монструозных персона-  
жах. Карл Юнг считал, что архаический мифологический персонаж  
Трикстер соответствует Тени индивидуальной психологии, а пото-  
му признание собственной «Тени» на уровне общественной реаль-  
ности должно вести к «реабилитации» образа Трикстера<sup>8</sup>. Если  
в «Вольтерьянцах» два полубрата Николай и Михаил непримире-

8 «Трикстер есть коллективный теневой образ, воплощение всех  
нижних черт индивидуальных характеров. А поскольку индивидуальная  
тень присутствует в составе личности, коллективный образ может посто-  
янно пользоваться ею для воссоздания себя. Конечно, не всегда в виде  
мифологического персонажа, но часто, вследствие растущего подавления  
и забвения изначальных мифологем, как соответствующая проекция  
на разные социальные группы и народы» (Юнг К.Г. О психологии обра-

мо противостоят Тени во всех ее ипостасях (их собственная природа «трикстеров» проявляется лишь намеком, через маскарадные маскировки и идентификацию с верными конями)», то в «Москве» два главных и, в общем, положительных мужских персонажа оказываются самыми отъявленными «трикстерами» — карнавальными обманщиками и перевертышами. Кирилл Смелчаков и Георгий Моккинаки ведут двойную жизнь светских львов и подпольщиков (особенно Моккинаки, который проявляет чудеса перевоплощений и разыгрывает даже самых близких людей). Общий объект любви превращает их в странных «побратимов», «жениха небесного» (Смелчаков) и «жениха физического» (Моккинаки) идеальной девушки, занявшей место сестер-курфюрстиночек. По ходу романа их роли меняются, а общая трагическая судьба лишь усиливает невидимые связи между двумя персонажами. Оба они «вольтерьянцы» (у Смелчакова дома стоит бюстик Вольтера, а Моккинаки прямо называют «Вольтером»), при этом безжалостные боевики-головорезы и авантюристы, но, так сказать, «*наши* авантюристы».

Признание и интеграция Аксеновым «теневого» стороны западничества (вольтерьянства, модерна) составляет нерв этого романа.

Вообразите себе человека, который настолько смел, что разом желает убрать все проекции (собственных бессознательных проблем — вовне), и вы увидите человека, сознающего, что за ним тянется густая Тень. Такой человек столкнется с новыми проблемами и конфликтами. Он станет серьезной проблемой для себя самого, поскольку теперь он не сможет сказать, что это *они* поступают так-то и так-то, *они* не правы, с *ними* нужно сражаться... Такой

за Трикстера // Радин П. Трикстер: Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г. Юнга и К.К. Кереньи. СПб., 1999. С. 284).

9 «Трикстер — это примитивное космическое существо божественно-животной природы, с одной стороны, превосходящее человека благодаря своим сверхчеловеческим качествам, а с другой — уступающее ему из-за своего неразумия и бессознательности. Он не ровня и животным, из-за своей неуклюжести и полного отсутствия инстинктов» (Там же. С. 276–277). В этой связи становится понятнее покровительственно-жалостливое отношение коня Пуркуа-Па к своему хозяину Михаилу.

человек знает, что все неправомерное, совершающееся в мире, происходит в нем самом, и если только ему удастся сосуществовать с собственной Тенью, то можно сказать, что он действительно сделал для всего мира. Он сумел решить хотя бы бесконечно малую часть гигантских социальных проблем, которые характерны для нашего времени<sup>10</sup>.

Именно эта трансцендентная Тень (точнее — Тьма) страшит и притягивает поэта и сталинского фаворита Кирилла Смелчакова. Всю свою творческую жизнь он пишет поэму о роковой встрече с Минотавром в самом черном чреве этой Тьмы, о надежде на нить Ариадны и несбыточности этой надежды. Как признается самому себе поэт, Минотавр — это даже не Сталин, а воплощение неумолимого Рока. Можно добавить: неизбежного, как исторический материализм. Потому что Сталин в романе — всего лишь ничтожество, окруженное плебеями, оседлавшее исторический процесс благодаря своему животному инстинкту.

Как объясняет сам Аксенов, название романа «Москва Ква-Ква» просто рифмует менее внятное «Москва Ха-Ха», то есть «XX век». От лица сталинских патрициев говорится:

Я много думал, друзья, о том времени, в котором нам выпало жить, то есть о двадцатом веке. В первой трети этого века в Европе возникли три могучих социалистических общества, отражающих тягу своих граждан к единству.

...[Гитлер и Муссолини]... со своими страшными кликами узурпировали стихийные порывы своих масс к единству...

Мы одни представляем сейчас двадцатый век! Мы, только мы воплощаем огромную, едва ли не метафизическую мечту трудящихся о единстве, о возникновении новой расы землян!<sup>11</sup>

А непримиримый враг Сталина Иосип Тито вторит:

Но прежде всего, други, мы являемся коммунистами двадцатого века, европейцами, современными марксистами (271).

<sup>10</sup> Юнг К.Г. Психология и религия... С. 186.

<sup>11</sup> Аксенов В.П. Москва Ква-Ква. М., 2006. С. 155, 156, 157 (далее ссылки на это издание даются непосредственно в тексте с указанием номера страницы).

В общем, наследниками вольтерьянства в XX веке, представителями самой радикальной версии модерна и воплощением теневой стороны западной цивилизации стала сталинская Московия. Именно признание этой «Тени» как неизбежного результата исторического процесса движет автором романа и заставляет его героя, поэта-идеалиста Смелчакова, признавать глубинную ужасающую правду сталинизма и капитулировать перед обитающим в недрах лабиринта истории Минотавром-Роком.

Ариадна Рюрих одна может предложить спасительную нить — и Сталину, и Смелчакову, и подселенному в большой роман юному Аксенову (он же Такович, он же Вася Волжский). Наследница германского аристократического рода, студентка ИФЛИ 30-х годов, генерал-майор разведки и несостоявшийся член Политбюро, похитившая во время войны Гитлера и, кажется, перевербовавшая его, Ариадна — сверхженщина и единственный человек, привносящий здравый смысл и логику в бушующий вокруг нее исторический абсурд. Прирожденная аристократка, она инстинктивно определяет *меру* — способность, после смерти Вольтера отличавшая лишь Екатерину Великую в романном мире Аксенова. Более подробно сосредоточившись на юнгианском анализе этой фигуры, мы бы увидели, что вместе со своей дочерью Гликой Ариадна олицетворяет Аниму, жизненную энергию, или, в более поздних определениях Юнга, отношение к жизни, совокупность высших ценностей и идеалов. Однако останемся на более прочных позициях классового анализа, чтобы заметить, что даже товарищ Сталин в романе предпочитает опираться на бывших дворян, которыми, по словам автора, движет не страх, «а некий моторчик исторического отбора» (226). Так темному року исторических процессов, которые привели в XX веке к «восстанию масс» и торжеству темной стороны вольтерьянства, противостоит нить наследственной аристократии духа, элитное культивирование духовности и отбор человеческого материала. Так возникает навязчивая тема платоновской утопии философа на троне и воспитания новой касты жрецов, «новой фазы» аристократического коммунизма и попыток придать смысл колоссальной гекатомбе террора, голода и войны.

Не случайно действие романа привязано к сталинской высотке на Яузе, которая так же выбивается из низенькой окружающей застройки, как ее элитные обитатели возвышаются над «массами»,

которым вроде бы принадлежит по историческому праву XX век («Ха-Ха!»). В то же время высотка противостоит архаическому Кремлю, символизируя новую фазу социалистического строительства, переход власти к новому патрициату. Единственным представителем «народа» в романе (за исключением двух продавщиц 1995 года на последних страницах) — то есть не сводящимся к статичным декорациям-функциям самостоятельным персонажем — оказывается сам Аксенов образца 1952 года, нищий казанский студент, сын репрессированных «врагов народа». Он не верит ни в какую мистическую «новую фазу» социализма, напротив, считает, что он «как раз сейчас и проявился в своих самых типичных, то есть блевотных, прелестях» (285). Товарищ Сталин — не жрец новой религии и не бог, а просто «уязвимый гад». С Аксеновым 2006 года все сложнее. Запустив грандиозный механизм романа, он исследует время и исторические процессы, но то, как он расставляет акценты при описании разыгрываемой драмы, выдает и его личные пристрастия.

Вася Волжский — единственный живой «простой человек» с реальными проблемами и трезвым взглядом на окружающий мир. Казалось бы, его компания стилиг («плевел» с официальной точки зрения) воплощает «народ» — не статистическую массу, а «обычных» людей, обладающих собственной субъектностью и потому противостоящих власти. Но Аксенов постоянно подчеркивает: «плевелы» — тоже элита, как по происхождению, так и по своим эстетическим запросам. Их преследует не нарождающаяся элита «новой фазы», сама не чуждая джазовой музыке, но плебеи режима Тьмы (т.е. «массы»). В драке «плевел» с дружинниками и милицией Вася Волжский сам восклицает: «Дай мне дрынду твою, Ахилл, отбиться от кровососущего плебса!» (256; «сосущим» и просто вампиром называют в романе Сталина, а это, стало быть, его клопы-подданные). Как отличается это столкновение стилиг и дружинников от совершенно параллельного эпизода задержания художников-концептуалистов дружинниками в «Скажи изюм!» В начале 1980-х годов дружинники у Аксенова — тоже люди, пусть неприятные или занятые дурным делом<sup>12</sup>. В середине 2000-х они всего лишь бессмысленный «кровососущий плебс».

<sup>12</sup> «Дружинники подходили, сияя идиотскими улыбками... По дороге... к месту задержания... дружинники перемешались с артистами, обме-

Справедливости ради надо сказать, что автор специально посвящает несколько страниц в начале второй части романа групповому портрету «народа», который, зарифмовывая неоплатоническую утопию сталинской «новой фазы» с Сиракузами времен Платона, называет «демосом». Однако этот коллективный портрет советского народа на просторах ЦПКиО (приют взыскующих «хлеба и зрелищ») является снижающей пародией на финальное групповое фото в «Скажи изюм» на Красной площади (символ исторической субъектности). Экспрессионист Аксенов, пишущий действие и динамику, даже описанием телесных отравлений передающий прежде всего эмоциональные движения, в данном случае изо всех сил старается на протяжении четырех страниц описывать народное тело как «тело», как четко разлагаемый на органы статичный механизм (*à la* Владимир Сорокин).

Если этот праздник советского народа, позволяющий разглядеть в нем черты изначального античного «демоса», происходит, когда «в середине григорианского июля наступает настоящий июль, юлианский» (164), то элита собирается на бал «в ночь под Старый Новый, то есть юлианский, год» (369). Это «почти античное собрание освящено Екатериной Великой» (374), которая, как уже говорилось, лично явилась поздравить героиню романа Ариадну. И тогда, «в прозрачный морозный вечер юлианского Нового года... Москва Ква-Ква... вновь обрела смысл и уют» (375). На этом вечере, кстати, и было впервые публично объявлено о начале «Новой фазы». В общем, выходит, что, если отказаться от излишнего модернизма григорианского календаря, восстанавливается нить, связующая времена, и появляется шанс вернуться в «истинное» русло истории. Плебс становится демосом, а члены ЦК... Вот тут, конечно, и скрыт самый фантастический элемент романа, куда более невероятный, чем похищение Гитлера из ставки (а после возвращение его), нападение боевиков Тито на Кремль и убийство Сталина Берией. Потому что произойти в XX веке могло *все, что угодно*, но нельзя было пережить его, не переродившись. Даже если не расстреливать членов ЦК ВКП(б)-КПСС десять или двадцать

нивались сигаретками. Любопытные задавались вопросы. А чего вы хотели веревкой-то сказать? Чтобы вся колхозная система удавилась? Или насчет советского рабства?» (Аксенов В.П. Скажи изюм. М., 2008. С. 420).



лет подряд, никаких аристократов духа из них — и даже из их детей — не может появиться. Поэтому Аксенов художественно точно доигрывает античную трагедию романа до конца, позволяя своим героям свершить свое предназначение и погибнуть по воле Рока. Чтобы ответить на вопросы: а что если бы они воспользовались «нитью Ариадны» и в чем смысл утопической «Новой фазы», процитируем заключительный пассаж статьи Юнга о Трикстере:

...[С]окрытое обычно состоит из все более и более священных фигур. Первое, что стоит за тенью, — это анима, которая наделена значительными способностями к очаровыванию и овладению. Она часто является в довольно юном виде, но прячет внутри мощный архетип мудрого старика (мудрец, волшебник, царь и т.д.).

...Но если тень — образ, наиболее близкий его сознанию и наименее взрывоопасный, она также является первой проявляющейся в ходе анализа бессознательного компонентой личности. Угрожающая и часто смешная фигура, она стоит в самом начале пути индивидуации, задавая обманчиво легкую загадку Сфинкса...

Если в конце мифа о Трикстере нам намекают на фигуру спасителя, это утешительное предвестие или приятная надежда означает, что какая-то катастрофа произошла, но была понята сознанием. Надежда на спасителя может родиться только из недр несчастья — другими словами, признание и неизбежная психическая интеграция тени создает такую мучительную ситуацию, что никто, кроме спасителя, не может развязать этот запутанный узел судьбы. В случае с отдельным индивидом проблема, вызванная тенью, решается на уровне анимы, то есть через отношение. В истории коллектива, как и в истории индивида, все зависит от развития сознания. Оно постепенно дает освобождение от заключения в бессознательном и поэтому является как носителем света, так и исцеления<sup>13</sup>.

Василий Аксенов на языке юнгианского символизма рассказывает о героях, которые воспринимают реальность через юнгианский символизм. Поэтому автора от лирического героя в романе отделяют не столько политические взгляды, сколько содержание внутреннего душевного опыта. Кирилл Смельчаков — мистический сталинист, который за физическим Сталиным — «старым тарака-

<sup>13</sup> Юнг К.Г. О психологии образа Трикстера.... С. 285, 286.

ном» видит грядущего бога новой религии, во имя которого и принесены миллионы жертв, в том числе и родители Кириллы. С ним соглашается и «святая „Новой фазы“» Глика, для которой Сталин — уже реализовавшийся Спаситель (Смельчаков все же собирается сначала убить Сталина, чтобы он воскрес, как бог). Для них Трикстером и личной Тенью, предвестником Анимы как средоточия смысла жизни является Сталин, через этот символизм они признают и интегрируют идею абсолютной власти и правящей касты.

Для Аксенова-писателя Сталин, конечно, никакой не Мудрец, «не бог, не царь и не герой», и даже не Тень. Амбивалентные (но скорее симпатичные) Трикстеры — Смельчаков и Моккинаки — помогают ему примириться с советской литературой Симоннова и Светлова, воздушным асом Коккинаки и еще многими элементами «советского наследия». За бравыми трикстерами вырисовывается двойной образ Анимы, идеалистической юной романтической красавицы (Глика) и одновременно зрелой (и столь же неотразимой) мудрой женщины, государственного деятеля (Ариадна). Эти персонажи протягивают цепочку исторической преемственности от «вольтерьянцев» XVIII века до новой элиты постсоветского времени. Не случайно все выжившие герои романа пользуются в 90-х годах славой и богатством (приватизировав разные участки спецсобственности), а братья-трикстеры восклицают: «Ведь мы с тобой не даром... прошли школу ленинского комсомола» (174), — явно отсылая к будущему роману о комсомол-олигархах 2000-х годов. Для Аксенова олицетворением Спасителя выступает Глика Новотканная, «утешительное предвестие или приятная надежда» после страшной катастрофы, «новосозданная» и противостоящая замшелым сталинистам, как Новый Адам противостоит Адаму Ветхому. Этот роман Аксенова «свершился», не развалившись, сплетя в единое литературное целое историософию и психологию, социальный анализ и фантазию. Что же все-таки не получилось с третьим романом цикла?

## В краю развесистых тамарисков

Роман «Москва Ква-Ква» выполнил задачу, которую уже два десятилетия безуспешно пытается решить российское общество: как

интегрировать сталинский период нашей истории, не впадая в апологику сталинизма, но и не объявляя целые десятилетия XX века черной дырой полного небытия. Эта задача, психологическая в той же мере, в какой и политическая, естественно востребовала юнгианский символический язык, выдвинув на первый план человеческую драму и отведя второстепенную роль битве конкретных идей. Можно сказать, что этот роман Аксенова посвящен признанию неотъемлемой частью нашего коллективного «я» черной и страшной тени XX века и оплакиванию людей, которые нашли в себе мужество мечтать о лучшем будущем посреди материализовавшейся утопии. В логике юнговского терапевтического анализа следующим шагом (после катастрофической попытки подавления Тени в «Вольтерьянцах» и трагического признания ее в «Москве») должна была стать нейтрализация Тени через осознанную индифферентность к ней. Третий роман по этой схеме должен был быть посвящен конструктивному восстановлению единства индивидуальной и коллективной «сущности», всех противоречивых, но неразрывных элементов, из которых состоит полноценное личное «я» и социальная персона. В социально-историческом плане это должно было бы привести к моделированию глубинной десоветизации, подобной денацификации, но без репрессивной цензуры политической корректности с ее запретными темами. В результате возник бы несколько шизофренический нарратив, ничуть, впрочем, не более абсурдный, чем обычная «нормальная жизнь» под пером Аксенова. «Жили страшно — но какие удивительные бывали прорывы; режим был кошмарный — но и 10–15% населения систематически стучало, так что временами инициатива репрессий и правда шла снизу; это было страшное время — но как удивительно, сколько неплохих людей пережило его сравнительно малой кровью...» и т.п. Речь идет, конечно, не о содержании, а о психологическом модусе: каких ужасов натворили — мы, нам, нами, — и понятно, почему это произошло, так что теперь мы переросли хотя бы этот искуc. Та психологическая целостность и «соборность», которые возникают в финале двух первых романов трилогии в трансцендентной реальности, должна была хотя бы отчасти «материализоваться» в третьем романе. Задача, конечно, много «посильнее „Фауста“ Гете», но после «Вольтерьянцев» и «Москвы» меньшего от Василия Аксенова ожидать было

и неудобно. Из двух романов вырастала тема истинного западничества для XXI века.

В «Редких землях» Аксенов продолжил линию предыдущих романов, но совсем другую. Вместо разрешения коллизии «коллективного бессознательного», центрального для параллельной реальности прежних романов, он обратился к какому-то утрированному (будто в пересказах советских учебников по психологии) фрейдизму. А главной темой сделал преемственность западнической элиты, которая в лице бывших комсомольцев связала советский проект с постсоветской эмансипацией западничества в России. Без всяких риторических ухищрений сразу скажу: этот фальшивый и надуманный ход уготовил роману судьбу «non-starter». Фальшь заключается в том, что разгульный комсомольский актив, который изображал в повестях конца 80-х Юрий Поляков, на наших глазах из шестерок ЦК КПСС превратился не в «капитанов индустрии», как полагает Аксенов, а в таких же — только постаревших — шестерок нового аппарата, поставленных «смотрящими» за распиленными кусками бывшей госсобственности в роли менеджеров, губернаторов и депутатов. Те же новые русские, старые комсомольцы, которые действительно проявили себя в независимом жизнестроительстве (например, Михаил Ходорковский), прежде должны были испытать некую серьезную внутреннюю трансформацию. Комсомольский опыт наверняка помог в организационно-хозяйственной и «идеологической» деятельности и создателю ЮКОСа, но ничего в этом опыте не предвещало будущего поворота, не готовило, да и было просто не в состоянии подготовить к новым задачам. Дело настоящего писателя — проанализировать, в чем именно заключалась трансформация МБХ (о которой он говорит в своих интервью), а что в его новой деятельности оказалось продолжением комсомольского опыта социализации. Но пытаться приписать прежней комсомольской элите некое имманентное западничество — помимо тяги к импортному ширпотребу — такая натяжка, что любой роман развалится, «не свершившись».

Упустив путеводную нить «параллельной реальности» своих романов (в «Землях» мы не найдем мощный и сверхпритягательный образ Анимы, сравнимый по интенсивности с женскими персонажами «Вольтерьянцев» и «Москвы»), Аксенов остался

один на один со своей сомнительной историософской схемой. Народ в России — не то демос, не то плебс, во всяком случае, почти неразличим с точки зрения своего «западнического» потенциала. Правительство было и остается «главным европейцем» в России, а в периоды особого людоедства эта роль переходит/должна бы переходить к элитной касте государственных мужей и жен. Само по себе западничество, вне приближения к политической власти, бесильно или даже деструктивно. Так и тянется историческая цепочка благонамеренных западников от Екатерины II, вынужденной смирять свои смелые прожекты во имя стабильности варварской империи, через идеал-сталинистов, пытающихся увидеть платоновскую республику за фасадом империи ГУЛАГа, к разудалым крепостителям эпохи комсомольского конформизма. Трагедия этих людей вызвана конфликтом «государственного интереса» с «внутренним миром» — не самая свежая по драматургии, но вполне легитимная себе трагедия.

Схема эта порочна, потому что не бывает в истории (особенно — в российской истории) никаких орденов тайного знания, передающих сакральное послание из поколения в поколение. Потому что «западничество» на самом деле подразумевает очень разные идеалы и сценарии в разные эпохи — и в разных общественных кругах. Потому что духовный элитизм *à la* Юлиус Эвола никак не противоречит торжеству массового общества, и не зря Карл Поппер в 1943 году причислял Платона к идейным предшественникам тоталитарных идеологий. «История» не дает гарантий поступательного прогресса, но еще меньше оснований доверять сохранность идеалов и ценностей закрытой группе коррумпированной элиты.

Эта схема естественно и даже «необходимо» выкристаллизовывалась в творчестве Аксенова на протяжении 80-х и 90-х годов как реакция на отказ от иллюзий шестидесятничества и поиск новой картины мира. Как уже говорилось, социальные практики шестидесятых (благонамеренное «вчитывание» прогрессивных интенций в политику властей, исторический оптимизм, осторожная фронда) странным образом возродились в образованном обществе нулевых годов, однако очень важные глубинные элементы этого умонастроения оказались забыты. Для Аксенова окончательный разрыв с идеологией шестидесятничества наступил

в 80-х годах, после того как почти все участники «Метрополя» — оставшиеся в России и эмигрировавшие — открестились от этого проекта как наивного шестидесятнического продукта. Как известно, разоблачение «наивного» всегда связано с утратой спонтанности и глубины восприятия жизни. Помимо развенчания иллюзий возможности легального самовыражения при существующем режиме, надежды на его очеловечивание, на социализм с человеческим лицом, отказ от наследия 60-х предполагал и второй очень важный шаг: разрушение идеи принадлежности нации, идеала товарищества и народности. Старые иллюзии возродились очень легко, а вот пространство сообщества солидарного действия («нация») так и не восстановилось.

Народность, о которой постоянно говорится в этой статье, — это не умиление перед «русским духом» или рабочей спечовкой, а ощущение принадлежности к воображаемому (но ощущаемому всеми) сообществу субъектов социальной жизни, когда естественно обратиться к другому «коллега», приемлемо — «товарищ», интимно — «старик». Кино и литература 60-х создали миф о героическом товариществе прошлого поколения 30-х годов, по модели которого с некоторым отстранением и иронией строилось социальное товарищество 60-х. Характерно, что следующее поколение с лагом в 30 лет не сумело создать новую версию российского товарищества. Из шестидесятничества было два пути: «вниз», в принципиальное диссидентство (что действительно означало отщепенство, выпадение из «нации», из сообщества — на манер Казака Эмиля), или «наверх», в политическую или духовную элиту, в сталинскую высотку или в башню из слоновой кости. Поиски «исторических закономерностей» развития вне конкретной социальной среды, мышление глобальными «цивилизационными структурами» делает невидимым народ, снимает врожденное отторжение «тайного приказа» и размывает основной инстинкт любого критически мыслящего интеллектуала — дистанцирования от любой, даже самой благолепной власти. Не случайно герои «Вольтерьянцев» и «Москвы» просто не в состоянии выговорить слово «человечество»: патриархальные московиты говорят «пчеловодство», а закладывающие за воротник сталинские соколы — «человепчество»; не дается абстрактный гуманизм русским идеалистам-романтикам, одним словом.

Справедливости ради надо признать, что и в «Редких землях» есть замечательные по литературе главы, эпизодически возникают тени из «параллельной реальности» прошлых романов, а сам текст находится под контролем такого мастера, что один из финальных фрагментов разваливающегося на куски романа удается дотянуть, как горящий самолет, почти до самого аэродрома. Как бы в подтверждение справедливости вышеприведенных рассуждений герой романа, комсомолец-олигарх и партизан элитарного западничества, «уходит в народ». Слово не произнесено, да и по описанию сам этот «уход» напоминает «ёрш» из Гаруна аль-Рашида и старца Федора Кузьмича, но как иначе назвать странствие миллиардера инкогнито и без охраны по российской глубинке с раздачей грантов загибающимся больницам и прочим бюджетным организациям? В голове рождаются ассоциации с грозными призывами Путина к социальной ответственности бизнеса, с не вполне отчетливой пока программой «левого поворота» МБХ... Но, как Мюнхгаузену в финальном эпизоде захаровского фильма, каждый раз хочется стряхнуть головой химерическое наваждение — «не то!». Не получается по письму, невнятно звучит по смыслу, остается ощущение недопроникновения в чуждый социальный опыт, наподобие интеллигентских фантазий на тему жизни блатных. Что означает это финальное хождение в народ — и что оно должно означать, так и остается недосказанным.

Проблема институционализации демократии, гарантии ее устойчивости от вырождения в тиранию или олигархию является одной из основных и древнейших проблем политической философии. Классический республиканизм, особенно в свете опыта Английской революции XVII века, с ее драматическим рецидивом и установлением диктатуры Лорда-Протектора, вполне четко разделял идеал правового государства и правления демократического представительства. Будь Аксенов современником Томаса Гоббса, его платоническое сочувствие идее правящей просвещенной касты или, того лучше, философа на троне было бы вполне понятным. Но уже Американская революционная война за независимость показала, что у демократии может быть устойчивый и вполне демократический «субъект» в виде мобилизованного сообщества солидарности, «нации». Ее размеры были весьма скромны в XVIII веке и даже в конце XIX века, но количествен-

ная динамика в данном случае не связана с качественным «устройством» политической системы. Было бы очень интересно, если бы Аксенов написал роман из времен Американской революции (с участием российских героев — тем более что реальные прототипы вполне известны). Вот тогда бы он смог смоделировать, обдумать совершенно другой просветительский проект. Тот, который всегда был ближе русскому западничеству, в котором, напомним, неразрывно сведены два компонента: этической реформы и институциональной трансформации. Последние романы Аксенова, как кажется, игнорируют эту бинарность нашей западнической традиции.

...Я не знаю, что именно писал Василий Павлович Аксенов накануне аварии. Последнее, что было опубликовано, — фрагмент из нового автобиографического романа «Таинственная страсть» в глянцево-«Караване историй» (2008. № 4). Этот прозрачно зашифрованный текст дышит каким-то другим — по сравнению с «Редкими землями» — ощущением психологической свободы и цельности. Действие происходит в конце 60-х, и мне хочется надеяться, что Аксенов увидел, как вписать опыт 60-х — свой собственный, своего круга, страны — в сегодняшний день. Как опять собрать людей для виртуальной коллективной фотографии под взглядом ангела Раскладушкина.

Сегодня в стране, которую снизу захлестнула волна нацизма, а успех в которой ассоциируется с причислением себя к той или иной самопровозглашенной «элите» (на худой конец — к «экспертному сообществу», ее обслуживающему), горизонтальную солидарность надо создавать с чистого листа, с объединения знакомых и понятных людей. Бог с ними, с миллионерами, с советниками президентов, с салонными гуру. Судьба западничества в России зависит не от людей, держащих капитал и содержащих детей в Лондоне, а от того большинства, что может признать «своего» в стилинге, в правозащитнике, в четком предпринимателе, в либеральном политике — а может и не признать... Когда Аксенов пишет про свой реальный круг общения, возникает образ очень крепкого звена, столь необходимого цепочке горизонтальной солидарности. На него можно нанизывать — или по его примеру ковать — другие звенья. Было время, когда миссией русского западничества было укрепление культа индивидуализма, апология эгоизма (но и тогда



речь шла о солидарности людей, разделяющих эти убеждения). Сегодня стоит задача эмансипации западничества от государства, а главной целью западников должна быть организация сообщества солидарного социального действия. Хочется надеяться, что роман русского западничества еще не дописан — и что Василий Павлович Аксенов впишет в него еще одну важную главу, вновь открыв для современников актуального героя времени, сформулировав программу для нового поколения русских западников.

## Библиографическая справка

«Прогулки фраеров»,  
или Как я публиковал Борхеса  
Неприкосновенный запас.  
1999. № 2 (4). С. 81–84.

Российская империя  
Никиты Михалкова  
Ab Imperio. 2000. № 1.  
С. 253–260.

Прощание с Америкой,  
или Конец нашего штатничества  
Ab Imperio. 2000. № 3/4.  
С. 373–380.

«F-Word» американской  
гуманитарной науки,  
или Второе пришествие  
Фуко в Россию  
Новое литературное обозрение.  
2001. № 49. С. 79–80.

Перед приходом тьмы.  
(Пере)ковка нового советского  
человека в 1920-х годах:  
свидетельства участников  
Ab Imperio. 2002. № 3.  
С. 297–320.

Афера. Мошенники и построение  
нового советского человека  
в статьях американских историков  
Ab Imperio. 2002. № 3.  
С. 581–592.

«Кутеж трех князей в зеленом  
дворике», или Рождение  
«либеральной империи»  
Ab Imperio. 2003. № 3.  
С. 423–434.

Бремя вызубренных уроков:  
Егор Гайдар и деконструкция  
империи  
Ab Imperio. 2007. № 1.  
С. 459–476.

«Правда русского тела»  
и сладостное насилие  
воображаемого сообщества  
Ab Imperio. 2008. № 3.  
С. 401–416.

Василий Аксенов: недописанный  
роман русского западничества  
Ab Imperio. 2009. № 2.  
С. 317–344.

## Summary

The collection *Writting. Degree. The Naughties* features essays written by the Russian historian Ilya Gerasimov during 1999–2009. The majority of the essays initially appeared in the specialized historical journal *Ab Imperio*. A by-product of professional debates, they cast the topics and methodology of those debates in the light of the most prominent cultural fields in modern Russia: films, books, and key public discussions. The underlying theme of the articles written on various occasions over that decade is the prospects of the Westernizing project in today's Russia. The crisis of the post-1991 Westernizing scenario, the critique of alternative holistic political projects, and attempts to outline a new “Westernizing project for the twenty-first century” are the main topics of the book.

# ИЛЬЯ ГЕРАСИМОВ НУЛЕВЫЕ. СТЕПЕНЬ. ПИСЬМА

РЕДАКТОР Татьяна Трофимова  
КОРРЕКТОР Мария Смирнова  
ВЕРСТКА Тамара Донскова  
ПРОИЗВОДСТВО Семен Дымант

Новое издательство  
119017, Москва  
Пятницкая улица, дом 41  
телефон / факс (495)951 6050  
e-mail [info@novizdat.ru](mailto:info@novizdat.ru)  
<http://www.novizdat.ru>

Подписано в печать 16.10.2009  
Формат 60×90/16  
Гарнитура Octava  
Объем 9,75 усл. печ. л.  
Бумага офсетная  
Печать офсетная  
Заказ №

Отпечатано  
с готовых диапозитивов  
в ООО «Типография Момент»  
141406, Московская область  
город Химки,  
Библиотечная улица, дом 11